

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО ДОСТОЕВСКОГО ЗА ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ

Обзор публикаций 1917—1933 гг.

Обзор В. Комаровича

До революции литературное наследие Достоевского пребывало в довольно-таки беспорядочном виде: не только изданный к тому времени эпистолярный фонд, но и самый печатный текст сочинений Достоевского нуждался в тщательной проверке, в значительном пополнении, а об изучении и издании рукописей Достоевского даже и вопрос не был еще поставлен. Не удивительно, что за истекшие с начала революции 17 лет в деле приближения к читателю творческой личности Достоевского сделано едва ли не больше, чем было сделано до того, за период вдвое больший (после смерти писателя).

Обзору новейших публикаций (за 1917—1933 гг.) печатного и рукописного наследия Достоевского и посвящен данный очерк.

I

В первую очередь должно быть рассмотрено новое издание сочинений Достоевского, предпринятое Госиздатом и выполненное Б. Томашевским и К. Халабаевым („Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений“ Гос. Изд., тт. I—X, 1926—1927 гг.; тт. XI, XII—„Ф. М. Достоевский, Дневник писателя“, 1929 г.; т. XIII—„Ф. М. Достоевский. Статьи за 1845—1878 годы“, 1930 г.). Редакторами осуществлена большая и ответственная задача: прочно установлен окончательный авторский текст Достоевского. В предшествующих изданиях такого текста мы не имели. Все они (изд. „Просвещение“ 1911 г., юбилейное издание А. Г. Достоевской, изд. Маркса 1894 г. и др.) брали за образец и первоисточник первое посмертное издание 1883 г., а если и обращались к изданиям предшествующим, то всегда не систематически и случайно. Что касается первого посмертного издания, то и оно, в свою очередь, воспроизводило текст Достоевского далеко не критически. Почти все, что вошло в него, издано было при жизни Достоевского по несколько раз, с значительными подчас отличиями первых (журнальных) редакций от редакций позднейших, исправленных. Редакторы посмертного издания 1883 г. мало с этим считались, руководясь иногда в пределах одного и того же произведения как журнальной его редакцией, так и редакцией окончательной. В таком хаотическом смещении текст Достоевского дожил до наших дней, искажаясь еще при этом от издания к изданию орфографическими и стилистическими подновлениями. Издание Госиздата и воспроизводит впервые дефинитивный авторский текст. Для определения его в каждом отдельном случае необходимо было сопоставить все при жизни Достоевского вышедшие издания каждого из его произведений; последнее исправленное и подлежало воспроизведению. Эта сложная черновая работа (по сличению изданий) зафиксирована в примечаниях к каждому тому; здесь находим в особых таблицах для каждого из произведений все разночтения всех его изданий, вышедших при жизни Достоевского; наиболее крупные варианты выделены особо. Таким образом, восстанавливая на наших глазах дефинитивный текст Достоевского, примечания Томашевского и Халабаева дают вместе с тем исчерпывающий материал для истории этого текста с момента появления его в печати. Из дополнений к каноническому тексту многое, правда,

и раньше было уже известно благодаря предшествующим отдельным сообщениям, главным образом в дополнительных томах (XXII, XXIII) к „Собранию сочинений“ издательства „Просвещение“, где Л. П. Гроссман опубликовал „Забитые и неизвестные страницы Достоевского“; но там эти страницы не связаны, во-первых, с контекстом и его более мелкими изменениями, а во-вторых, не исчерпывают собой всех вариантов печатного текста вообще. Так о существенных отличиях журнальной редакции „Униженных и оскорбленных“ и „Преступления и наказания“ впервые узнаем из текстологических приложений Томашевского и Халабаева. Нашли конечно себе здесь место и все дальнейшие (после издания Гроссмана) приобретения в области печатного текста Достоевского (варианты журнальной редакции „Бесов“, пропущенная цензурой глава „Дневника писателя“ 1877 г.: „Старина о петрашевцах“ и пр.). Особого внимания заслуживают томы VII („Бесы“) и XIII. В приложении к „Бесам“ находим так называемую „Исповедь Ставрогина“, т. е. ту главу IX второй части („У Тихона“), которая исключена была из романа и опубликована только в 1922 г.—в двух различных, как известно, редакциях. Параллельное издание обеих редакций многое уяснило бы в тех спорных вопросах, которые сразу же возникли вокруг судьбы и истории этого ценного художественного фрагмента. В приложении к VII тому дан однако лишь свод из обоих текстов (петербургского и московского). Для некоторых чтений привлечены кроме того новые документальные данные: те из корректурных исправлений московского текста, которые в 1922 г. остались невоспроизведенными, а также копия некоторых из них, снятая А. Г. Достоевской и хранящаяся в Пушкинском доме. При составлении свода предпочтение отдается всякий раз варианту позднейшему, исправленному. Но чтоб возможен был такой выбор, сперва необходимо было конечно решить более общий вопрос: какой из двух текстов — петербургский или московский — считать последним.

Их сличение (в „Примечаниях“) приводит к следующим ценным выводам: „первоначальным текстом главы является текст гранок (т. е. московский) в том виде, в каком они были набраны до корректурных правок“ (т. VII, стр. 592); эту же первоначальную редакцию отражает и копия Анны Григорьевны (т. е. петербургский текст), но лишь частично, в пределах 1-го подотдела главы и второй половины самой „исповеди“; в остальном же дает „позднейшую редакцию, в которую введены корректурные правки гранок и развиты намеченные на полях эпизоды“ (т. VII, стр. 592); такая неоднородность копии Анны Григорьевны (петербургского текста) объясняется тем, что „в момент копирования А. Г. Достоевская почему-нибудь не имела под руками всего рукописного материала“ (т. VII, стр. 593). В основу свода и положены те отделы петербургского текста, которые отнесены за счет позднейшей редакции, а все другие отделы заменены соответствующими чтениями московского текста (с корректурными исправлениями); варианты отнесены в примечания. С большим тактом и остроумием сделано таким образом все, чтобы художественным фрагментам Достоевского придать цельность и возможную законченность. Рядовой читатель от этого несомненно лишь выиграет; специалист же, изучающий Достоевского, предпочел бы параллельное издание самых фрагментов.

XIII том объединяет анонимную и полуанонимную критику и публицистику Достоевского, т. е. газетные и журнальные статьи из „Отечественных Записок“ (1846), „Санктпетербургских Ведомостей“ (1847), „Времени“, „Эпохи“, „Гражданина“ (помимо „Дневника писателя“) и сборника „Складчина“; в „Приложениях“ собраны „произведения Достоевского, написанные совместно с другими“, и статьи редакционного характера, „относительно которых тоже допустимо предположение коллективного авторства“. Словом, XIII том нового собрания сочинений как бы подводит итог предшествующим размышлениям исследователей Достоевского в области его анонимного литературного наследия. И это вполне своевременно: свод анонимных текстов, выполненный в 1918 г. Л. П. Гроссманом (в XXII—XXIII тт. собр. соч. Достоевского изд. „Просвещение“), давно уже стал нуждаться в пополнении и пересмотре; и сравнительно с ним новый свод Б. Томашевского и К. Халабаева — действительно большой шаг вперед как в смысле полноты, так и в смысле точности присвоения той или иной статьи перу Достоевского.

Здесь — кроме тех пяти статей из журнала „Время“, которые по указанию Страхова давно уже включены в собрания сочинений, и тех многочисленных к ним дополнений, которые собрал Гроссман, — находим еще: вступление к альманаху 1846 г. „Первое апреля“ (в „Приложениях“), написанное Достоевским совместно с Григоровичем; фельетонную повесть из того же альманаха (тоже в „Приложениях“), написанную совместно с Григоровичем и Некрасовым (на что впервые указал К. Чуковский); фельетон 1847 г. (изданный В. С. Нечаевой и А. С. Долининым уже после дополнительных томов Гроссмана); затем пять статей из „Времени“, „Эпохи“ и „Гражданина“, пропущенных в свое время Гроссманом и воспроизведенных теперь в качестве литературной собственности Достоевского впервые: это — „Примечанье к письму с Васильевского Острова“ („Время“ 1861 г.), „Славянофилы, черногорцы и западники“ („Время“ 1862 г.), „Чтобы кончить. Последнее объяснение с Современником“ („Эпоха“ 1864 г.), „Заметка от редакции“ („Гражданин“ 1873 г.) и (в „Приложениях“) „Желанье“ („Гражданин“ 1873 г.), в „Примечаньях“ кроме того воспроизводится, также впервые, целый ряд мелких редакционных заметок к тем или иным статьям „Времени“, „Эпохи“ и „Гражданина“, тоже принадлежащих, надо думать, перу Достоевского (некоторые из них прямо им и подписаны).

Для выяснения авторства Достоевского — помимо известного списка Страхова (анонимных статей Достоевского) и тематической или стилистической связи „новых“ статей со статьями, по отношению к которым авторство Достоевского сомнений уже не внушает, — Томашевский и Халабаев изыскали еще новый критерий: указания, хотя бы косвенные, из конторских книг журналов „Время“ и „Эпоха“, хранящихся в Музее имени Достоевского в Москве: книги эти помогают „определить авторов анонимных статей, не принадлежащих братьям Достоевским, и тем сузить круг статей, относительно которых остается вопрос о принадлежности“ (т. XIII, стр. 561). Отчасти благодаря этому, отчасти и по другим не менее веским соображениям отвергнут ряд статей, несправедливо приписывавшихся Достоевскому предшествующими исследователями (А. П. Гроссманом, М. Лемке, Оскаром фон Шульцем). Так не нашли себе места в новом издании заметки из отдела „Наши домашние дела“ в журнале „Время“ 1861 г., воспроизведенные в качестве принадлежащих Достоевскому А. П. Гроссманом (в XXII томе „Собрания сочинений“ изд. „Просвещение“ и в сборнике „Творчество Достоевского“, Одесса, 1921 г.); отпала и статья „Пожары и зажигатели“, перепечатанная из „Сборника статей, недозволенных цензурою в 1862 г.“, с произвольным присвоением ее Достоевскому Михаилом Лемке в его книге: „Политические процессы в России в 1860-х гг.“, 1923 г. (стр. 624—630)¹ справедливо исключена также небольшая заметка в „Гражданине“ 1873 г., приписанная Достоевскому Гроссманом (т. XXII, стр. 272—273). Две других статьи из собрания Гроссманом („Выставка в Академии Художеств“ и „Рассказы Н. В. Успенского“) столь же предвзвешенно отнесены в „Приложения“ под рубрику: „приписываемые Достоевскому“. Зато излишняя строгость проявлена по отношению к одному из фельетонов 1847 г. (13 апреля). Томашевскому и Халабаеву удалось, правда, бесспорно установить, что в редакции „Санктпетербургских Ведомостей“ автором этого фельетона (подписанного инициалами „Н. Н.“) считался не Достоевский, а его друг А. Н. Плещеев. Были таким образом все основания фельетон 13 апреля в основную часть книги не вносить; ошибка лишь в том, что фельетон не включен в „Приложения“: он носит явные следы если не авторства, то по крайней мере авторского соучастия Достоевского. Чтоб убедиться в этом, надо припомнить кроме аргументов В. С. Нечаевой, целиком приписавшей фельетон 13 апреля Достоевскому, статью в „Дневнике писателя“ 1876 г. (январь) „Русское общество покровительства животным. Фельдъегерь“, где говорится, в плане уже ретроспективных воспоминаний, о „филантропическом обществе“, когда-то мечтавшемся Достоевскому, и о карикатурной его „эмблеме“, т. е. точь в точь о том же, о чем говорит заключительная часть фельетона 1847 г.; больше того: стихотворенье Дениса Давыдова, использованное в качестве указанной „эмблемы“ в фельетоне 1847 г., прямо цитируется в другой статье „Дневника писателя“ 1876 г. („Несколько слов о Жорж-Занде“). А что в 40-х годах именно Плещееву в его литературной работе Достоевский вообще помогал — известно из „Воспо-

минаний" С. Д. Яновского. Отрицать таким образом не только авторство, но и авторскую причастность Достоевского к этому фельетону 13 апреля было бы осторожностью уж излишней. В „Приложениях“, рядом с коллективным предисловием Достоевского—Григоровича к альманаху „Первое Апреля“, по праву занял бы подобающее ему место и фельетон Плещеева—Достоевского.

XIII том заканчивается новейшей библиографией литературы о Достоевском (не во всем впрочем точной) и указателе личных имен ко всем 13 томам, что и служит как бы завершительным штрихом той исключительной полноты и тщательности, которыми отмечено все издание в целом.

Кроме этого собрания сочинений появились за рассматриваемый период и отдельные издания некоторых произведений Достоевского. Так изданы были фельетоны 1847 г., а рядом с ними—упомянутый фельетон Плещеева—Достоевского („Фельетоны сороковых годов. Журнальная и газетная проза И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева... Редакция Ю. Г. Оксмана“, „Academia“, 1930); тут же, в виде приложения,—фельетонная повесть Достоевского, Григоровича и Некрасова (из альманаха 1846 г. „Первое Апреля“) „Как опасно предаваться честолюбивым снам“ (с сопроводительной статьей Тамары Хмельницкой). Изданы иллюстрированный „Ползунков“ (со вступительной статьей В. С. Нечаевой, 1928 г.) и иллюстрированный „Игрок“ (1930 г.).

II

Переходя к рукописным текстам Достоевского, рассмотрим их в хронологической последовательности соответствующих произведений.

Конспективные наброски исправленной (неосуществленной) редакции „Двойника“ из записных книжек Достоевского 1861—1864 гг. (Исторический Музей в Москве) сообщил и сопоставил с двумя печатными редакциями этой повести Р. И. Аванесов („Достоевский в работе над „Двойником“, в сб-ке „Творческая история“ под редакцией Н. К. Пиксанова. М., 1927 г.).

„Рассказы бывшего человека“ (1848), состоящие, как известно, из двух очерков („Отставной“ и „Честный вор“), дополнены теперь третьим очерком—„Домовой“, который опубликован Н. Бельчиковым по рукописи Центрархива („Звезда“ 1930 г., № 6, отд. „Литературный архив“). Очерк не доведен до конца и обрывается на полуфразе; однако связь его с двумя другими рассказами несомненна: рассказчик как там, так и тут—все тот же „бывалый человек“, Остафий Иванович; место, предназначавшееся рассказу в цикле, тоже поддается определению: оно—посередине между двумя другими рассказами.

Тем же исследователем опубликован (по рукописи Центрархива) вариант VII главы „Неточки Незвановой“ (в журнале „Печать и революция“ 1928 г., кн. 2), из которого видно, насколько первоначальная редакция этой повести отличалась от той, которая нам известна.

Тот же Н. Ф. Бельчиков опубликовал отрывок рукописных вариантов (из собрания Центрархива) к повести „Крокодил“ (в статье: „Чернышевский и Достоевский. Из истории пародий“, в „Печати и революции“ 1928 г., кн. 5).

Рукописи „Преступленья и наказания“ издал И. И. Гливенко („Центрархив. Из архива Ф. М. Достоевского. Преступление и наказание. Неизданные материалы. Подготовил к печати И. И. Гливенко. ГИХЛ, 1931“). Это—три „записных книжки“, перешедшие (под №№ 1, 2 и 3) в Центрархив из собрания А. Г. Достоевской, которой принадлежит и указанная нумерация. Собственно „Преступленью и наказанью“ посвящено во всех трех тетрадах 244 страницы. Они-то и изданы². Весь материал расположен в издании в порядке указанных номеров тетрадей. И. И. Гливенко в своей вступительной статье справедливо отметил однако, что „нумерация тетрадей, данная Анной Григорьевной Достоевской“, ошибочна (ор. cit., стр. 5) и что „записная книжка, имеющая № 2, хронологически предшествовала № 1“. К чему было в таком случае придерживаться в издании заведомо ошибочного порядка? Но еще более хаотическая картина ожидает нас, если от порядка тетрадей обратиться к порядку рукописных страниц в издании. Свои тетради Достоевский заполнял текстом как придется, капризно переходя с правой стра-

ницы на левую, или из середины тетради, оборвав запись на полуслове, переносил ее продолжение на первую попавшуюся чистую страницу в начале. При таком размещении в тетрадях текста вовсе, казалось бы, недопустимо издавать его просто в механической последовательности страниц, пронумерованных к тому же не Достоевским в процессе работы, а *post factum* его женой. Однако как раз эта самая механическая последовательность в издании и выдержана с начала до конца со строгостью, достойной лучшего применения. Благодаря этому в целом ряде случаев смысловая (не говоря уж о хронологической) последовательность отдельных заметок и даже просто отдельных фраз Достоевского оказалась нарушенной, искаженной. За продолжением фразы издатель нас сплошь и рядом отсылает на другую страницу книги, далеко отстоящую от той, которую мы сейчас читаем; или так же далеко предлагает нам отыскать начало заметки, невразумительный конец которой у нас перед глазами. Эта путаница, уже сама по себе чрезвычайно затрудняющая ознакомление с книгой, усугубляется еще тем, что комментарий издателя к опубликованному им тексту весьма скуден, а местами и ошибочен. В самом деле: в каком отношении друг к другу, а затем и к печатному тексту романа стоят эти бессвязные нагромождения в трех тетрадях рукописных набросков и заметок? Ответа статья Гливенко не дает. Отмечая в изданном им материале тематические или композиционные варианты к законченному роману, систематизировать их в приурочении к тому или иному хронологически определенному моменту генезиса романа, к тому или иному первоначальному его плану Гливенко даже не попытался. И таким образом эту необходимую работу приходится прodelывать читателю самому.

Наиболее раннюю формуляцию замысла надо отыскивать в „записной книжке“ № 2, поскольку именно она из всех трех является хронологически самой старшей. По своему содержанию текст этой тетради может быть подразделен на два слоя, резко отличающихся друг от друга качеством материала и приемами работы художника. Отрывочные конспекты, несвязанные друг с другом по смыслу и строю фразы заполняют собой начало тетради и затем самый конец (стр. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 — 20, 26, часть 30-й; затем 149—152). Напротив, почти вся середина тетради занята синтаксически связным, последовательно развивающимся повествованием, прямые (подчас дословные) соответствия которому находим в законченном романе: страница 43, начинаясь на полужае и продолжая собой таким образом какую-то другую, неизвестную нам тетрадь, содержит текст, соответствующий последним фразам 1-й части законченного романа (о возвращении Раскольникова к себе домой после убийства); на следующих затем страницах (с пропуском только 44 стр., о которой сведений издание Гливенко не дает) находим такое же соответствие первым главам 2-й части романа; этот отрывок тянется, начиная со страницы 45, почти без перерыва (прерываясь лишь в одном месте, на стр. 94 и 95, конспектом) до конца страницы 109, откуда, обрываясь на полужае, переходит прямо на страницу 27 и далее заполняет собою еще страницы 28—33. Чем вызван был такой перенос текста со страницы 109 на страницу 27? Объяснение возможно одно: к моменту заполнения текстом страницы 109 непосредственно следующие за ней страницы были уже текстом заполнены; но на этих как раз страницах (110, 111, 112)—черновик письма Достоевского Каткову, поддающийся датировке: черновик этот набрасывался в Висбадене в первой половине сентября 1865 г.³ Отсюда заключаем, что и предшествующий ему художественный отрывок начат был незадолго до того, а закончен вскоре после того, как написан был упомянутый черновик. Перед нами следовательно более или менее законченный отрывок той первоначальной редакции „Преступленья и наказания“, которая под именем „повести“ („от пяти до шести печатных листов“) создавалась как раз в Висбадене в конце августа, в сентябре и в начале октября 1865 г., как это видно, кроме упомянутого письма к Каткову, еще из писем Достоевского к А. Е. Врангелю за тот же период и из позднейших писем к жене. Что же касается конспективных заметок в начале рассматриваемой тетради, то и их нет оснований относить к какому-либо другому моменту генезиса романа; на тот же первый заграничный период работы прямо указывает дата на странице 18-й: „14 октября (на пароходе *Viceroy*)“⁴. Письмо Достоевского к Врангелю от 8/20 ноября 1865 г.⁵ позволяет установить с точностью, когда именно, при возвращении Достоев-

ского осенью 1865 г. из-за границы в Россию, состоялся переезд по морю из Копенгагена в Кронштадт; оказывается—между 11-м и 17-м октября старого стиля; 14 октября (того же стиля) действительно приходится на те 6 суток, которые провел Достоевский в 1865 г. на борту парохода. Запись под этой датой—одна из последних конспективных записей в начале рассматриваемой тетради; предшествующие ей записи есть следовательно основания относить к предшествующему дате периоду, т. е. к тому же периоду работы (в Висбадене), что и законченный отрывок из середины тетради. Два особых конспекта (на страницах 26 и 30), связанные между собой сходным заглавием и номерами („Prospectus № 1“ и „Prospectus № 2“), тоже должны быть отнесены к периоду работы в Висбадене, может быть к самым первым фазам этой работы, судя по тому, что предусматриваемая ими редакция не только сходна в основном с той, которую находим в предшествующих конспектах, но и еще более, чем она, схематична, еще менее конкретна. И только наконец конспекты на четырех последних страницах (149—152) по некоторым признакам могут быть отнесены к другому, более позднему периоду работы над „Преступлением и наказанием“ (о чем ниже). Каковы же главные признаки этой висбаденской краткой редакции, создававшейся, как видим, на всем почти протяжении тетради № 2?

Самая разительная ее особенность—форма рассказоведения от лица героя (Icherzählung); в этой форме выдержан как отрывок, соответствующий концу 1-й части романа (на стр. 43), так и весь большой отрывок, соответствующий первым главам 2-й части романа (на стр. 45—109, 27—33); неизменно все та же форма предусматривается и в конспективных набросках начала тетради. Никаких намеков на ту форму объективного рассказа от лица автора, которая потом окажется налицо в законченном романе, пока еще нет. Далее, иные тут, чем в романе, имена некоторых персонажей. Будущего Раскольникова Разумихин называет „Вася“, „Васюк“, одинаково в законченном отрывке из середины тетради и в конспектах ее начала; будущий доктор Зосимов последовательно именуется Бакавинным (Бакалиным) тоже как в отрывке из середины, так и в начальных конспектах; квартирная хозяйка Раскольникова, хоть и носит уже, как в романе, фамилию Зарнидиной⁶, но имя пока у нее другое: Разумихин называет ее не Пашенькой и не Прасковьей Павловной (как в романе), а Сонечкой, или Софьей Тимофеевной, и опять при этом не только в отрывке, но и в конспектах начала тетради⁷. Соответственно этому настоящая героиня романа, будущая Соня Мармеладова, именем „Соня“ названа в конспектах (начала тетради) один только раз, да и то как бы случайно⁸, обычно же обозначается здесь словами „дочь“, „дочь чиновника“, „дочь Мармеладова“ или чаще всего просто словом „она“ („она к нему пришла“, „Пошел к ней“ и т. п.).

Есть зато один персонаж — и не последний по предназначавшейся ему роли, — отсутствующий в законченном романе. Это—девочка по имени „Сяся“; отрывок из середины тетради об ней молчит, но видимо только лишь потому, что обрывается раньше того как „Сяся“ по ходу действия должна была бы выступить: конспект на странице 94, прерывающий собою отрывок и намечающий его продолжение, „Сясю“ как раз и упоминает⁹. Говорят о ней и конспекты начала тетради. „Сяся“ должна была явиться к герою-преступнику после убийства и после того, как он сознает себя окончательно выброшенным из жизни; „Сяся“ и является в качестве живого напоминанья об утраченном: „NB. Как воротился от Разумихина с именин, всю ночь ужасных и совершенно ясных рассуждений, а к утру вдруг девочка, Сяся, обнялся с нею“¹⁰; или: „от Разумихина приходит. Сяся и письмо от матери“¹¹. Далее оказывается, что „Сяся—дочь убитой им Лизаветы“, которую знает „она“, т. е. будущая Соня Мармеладова: „NB. Произошло с Сясей так: он ласкает Сясю, а она к нему пришла (от [вдовы] жены) и видно что сама рада была предлогу прийти. Тут она сказала, то дочь Лизаветина [и что она знала Лизавету]. Потом, когда ей он повинился, то вдруг хватъ, нет Сяси, это она приходила и увела ее к себе. Он понял“¹². Признание Раскольникова Соне о совершенном им преступлении должно было, согласно замыслу, непременно отзываться и в этом сентиментальном эпизоде о девочке-сироте: конфиденстка убийцы, чтоб понудить его покаяться, донести на себя, уведит у него Сясю. „Призна-

ется во всем. Расстались. Она взяла Сясю" и т. д.; и еще: „Сяся, разве я не могу любить ее. Лизаветина“¹³.

Некоторые эпизоды будущего романа намечены в этой краткой редакции иначе, чем осуществлялись в романе. Эпизод Мармеладова имеет здесь несколько вариантов. „Встреча с чиновником“ приурочивается например к Крестовскому острову¹⁴, а в ряду событий романа не предшествует убийству (как в романе), а случается после него¹⁵. В связи с этим стоит один, отпавший потом мотив: пьяному чиновнику денег на выпивку дает не дочь-проститутка (как в романе), а убийца из кошелька убитой и ограбленной им старухи¹⁶; и только как одна из многих возможностей намечается наконец мотив, избранный потом для законченного романа: „1-я встреча в распивочной с чиновником“¹⁷.

Так же неопределенна пока и мотив будущей Сони; здесь у нее не только нет имени, но и ее образ еще неясен; в некоторых записях он намечается гораздо жестче, чем выступит позже в романе; подчеркнуты например „профессиональные“ черты проститутки: „встречает раз ее промышляющую. Скандал на улице...“; или: „к дочери пошел. По-блядски“¹⁸. Есть запись, прямо свидетельствующая о колебании художника при выборе между этими чертами и теми, которые возобладали потом в романе: „NB (Дочь чиновника мимоходом, чуть-чуть и оригинальнее вывести. Простое и забытое существо. А лучше грязную и пьяную с рыбой“¹⁹. Но какова бы она ни была, уже теперь художнику совершенно ясно, что патетический финал романа без нее обойтись не может; финал этот, как он дан в романе, с точностью уже предусмотрен в ряде заметок: „У ней ноги цаловал (—Конец). Поклонился народу. Донес на себя“; или „Поехал он к ней так: сначала повалился на Сенной, потом прямо в контору“²⁰ и т. д. Но любопытен вариант, не нашедший себе места в романе, дающий особую идеологическую мотивировку признанию Раскольникова: „NB. О, зачем не все в счастье? Картина золотого века. Она уже носится в умах и в сердцах. Как ей не настать — и проч.

NB. Но какое право имею я, я подлый убийца, желать счастья людям и мечтать о золотом веке.

Я хочу иметь на это право. и вследствие того (этой главы) он идет и на себя доказывает. Заходит только проститься с ней, потом поклон народу — признание“²¹.

В рассматриваемой редакции почти отсутствует эпизод, центром которого в законченном романе является Дуня. Правда, в одном из конспектов находим заметку: „История с сестрой. Я хотел его убить, но в это время я занят был любовью“²². Можно принять это за намек на Свидригайлова; но в таком случае — это единственный намек на него во всем основном содержании тетради. Нет тут еще и буржуазного жениха Дуни—Лужина. Он выступает только на последних четырех страницах тетради. Ряд заметок, начинающихся на странице 149 и озаглавленных: „Сейчасные справки“, посвящен как раз эпизоду Дуни по преимуществу; первая из этих заметок (на стр. 149) намечает ту сцену законченного романа (в 5 гл. 2-й части), где впервые выведен Лужин; последняя же (на стр. 152)—сцену окончательного разрыва с ним Дуни (во 2-й и 3-й главах 4-й части романа). Между той и другой заметкой о Лужине—особая заметка об Аристове: „Аристов и его история“; это—фамилия одного из самых отталкивающих персонажей „Мертвого дома“; характеристика циника, которая ему тут дана, и какая-то неопределенная пока причастность его к судьбе „сестры“ позволяют признать в нем прообраз Свидригайлова. Так заключительные страницы тетради № 2 уводят нас от той краткой редакции, которая зафиксирована в основном содержании этой тетради. Эпизод Дуни и Свидригайлова, мало-помалу вступаю в свои права, как раз и нарушил сложившийся было замысел, противореча, во-первых, краткости, односюжетности задуманной повести и во-вторых, совсем не мирясь с избранной для повести формой рассказывания: личные признания главного героя никак не могли бы охватить собою самостоятельного рассказа о другом лице,—рассказа о последней любви и самоубийстве несправимого циника. „Повесть“ должна была уступить место роману. Замысел действительно подвергся существенным изменениям, лишь только Достоевский возобновил работу по возвращении из-за границы в Петербург в октябре 1865 г. „Засел я работать ускоренно и усиленно, — пишет Достоевский Янышеву 22 ноября,²³ — но работа моя пошла так, что надо-

было вновь переработать — и я решился на это“. „В конце ноября было много написано и готово, — признавался вскоре потом Достоевский Врангелю. — Я все сжег... мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлек, и я начал сызнова“ ²⁴. Эта новая стадия работы над „Преступлением и наказанием“ зафиксирована в издании Центрархива тетрадь № 1: записи в ней Гливенко справедливо отнес, на основании встречающихся в них дат, именно к ноябрю — декабрю 1865 г. И не вдаваясь уже в подробный их анализ, отметим только, что выбору новой формы рассказоведения, с одной стороны, и эпизоду Дуни — Лузина — Свидригайлова (Аристова) — с другой, тетрадь эта в значительной своей части как раз и посвящена.

Тетрадь № 3 имеет несколько дат, удостоверяющих бесспорно, что записи в ней были сделаны после уже того, как „Преступление и наказание“ стало печататься в „Русском Вестнике“ ²⁵. Соответственно этому ее страницы не столько освещают генезис романа, сколько служат как бы авторским к нему комментарием. Много внимания уделяет тут сам Достоевский „идеи романа“; немало и авторских „характеристик“ отдельных персонажей романа (Разумихина, Свидригайлова и др.). Из существенных фабулярных вариантов здесь можно отметить одно, касающееся финала: „Глава Христос (как сон Облом.)“ кончается пожаром. — После пожара он пришел с ней проститься. Нет, я еще не готов, я полон гордости“; и еще: „В. Гордость и надменность его и самоуверенность в безвинности идут все crescendo и вдруг на самом сильном фазисе, после пожара, он идет предать себя“ ²⁶. Мысль усложнить финал эпизодом о пожаре, где Раскольников должен был „наделать громких дел“, была у Достоевского и в более ранний период работы ²⁷. Тем интересней выпадение этого эпизода из законченного романа с кратким однако упоминанием (в эпилоге), при перечислении смягчивших судьбу Раскольникова показаний на суде, что когда-то прежде он „во время пожара, ночью, вытащил из одной квартиры, уже загоревшейся, двух маленьких детей“. Это — типичный у Достоевского случай, когда мотив ранней редакции выступает и в законченном романе, в рудиментарном лишь состоянии.

Рукописи к роману „Идиот“ изданы академиком П. Н. Сакулиным („Центрархив. Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы. Редакция П. Н. Сакулина и Н. Ф. Бельчикова. ГИХЛ, 1931“). Материал извлечен из записных тетрадей Достоевского под №№ 3, 10 и 11; текст заполняет собою страницы тетрадей так же беспорядочно, как и в тетрадях с черновиками „Преступления и наказания“. Зато издание, выполненное Сакулиным, выгодно отличается от издания Гливенко. Сопроводительная статья Сакулина: „Работа Достоевского над Идиотом“ действительно служит читателю, как говорит автор, „путеводителем по печатаемым материалам“. Сопоставление встречающихся кое-где в тетрадях дат со сведениями из писем Достоевского о ходе его работы над „Идиотом“ приводит Сакулина к следующему выводу: „Все, что заключается в тетрадях № 3 и № 11, относится к начальному периоду работы, до появления в печати первых глав. Заметки в тетради № 10 писались уже после того, как роман стал печататься, и следовательно допускают прямое сближение с текстом печатной редакции“ ²⁸. В издании, соответственно этому, текст из тетради № 11 как непосредственно продолжающий собой тетрадь № 3, предшествует тексту из тетради № 10. Трудней было разобраться в последовательности рукописных страниц. Сакулин справедливо учел невозможность „механически воспроизводить“ последовательность в тетрадях и допустил поэтому в своем издании ряд „очень значительных перестановок“. Но сделано это с большим тактом, так что трудная задача — размещение рукописных страниц в той последовательности, как их заполнял своими заметками Достоевский, — в общем разрешена тут блестяще и только в редких отдельных случаях принятая Сакулиным пагинация кажется не вполне точной.

Не менее тщательно выполнена и другая задача — систематизация рукописного материала в преимственной смене замыслов или „планов“, предшествовавших законченному роману. В исследовании Сакулина этому посвящена особая глава („К творческой истории романа“). Работа над „Идиотом“ протекала, как известно, негладко. Начатая в середине сентября 1867 г. (чему соответствует первая запись в тетради № 3 с датой „14 сентября“) работа внезапно, в первых числах декабря, была прервана: роман

„перестал нравиться“, пишет сам Достоевский, его „пришлось забракловать“²⁹. К этой „забраклованной“ редакции и относятся все записи в тетрадях № 3 и № 11: последняя дата в тетради № 11 — 30 ноября (1867 г.) — прямо подводит нас к тому моменту работы, когда, по словам самого Достоевского, разочаровавшись в романе, он „4 декабря иностранного стиля бросил все к чорту“³⁰. Этот „забраклованный“ замысел, как бы распластаный перед читателем в опубликованных теперь черновых набросках, Сакулини и взялся реконструировать. „По моему мнению, — говорит он, — забраклованную редакцию можно разделить на восемь последовательных планов и один промежуточный, при чем в пределах каждого плана есть свои ответвления“. „Первым планом и, следовательно, верном, из которого развернулся весь роман“ оказываются начальные записи в первой из трех тетрадей.

Приводим отсюда все наиболее характерное относительно фабулы и главных действующих лиц.

„Разорившееся помещичье семейство (порядочной фамилии) очутилось в Петербурге. Несмотря на бедность — форс. Главный форс у матери — особа достойная уважения и благородная, но взбалмошная. Семейство состоит из сына (молодой человек балованный матерью, обожаемый, красавец, но умеющий понять свое положение. Ищет места, благороден, из самых буржуазных натур, но имеющий претензию на самобытность и даже поэзию. Есть манера. Свысока — насмешливость. Нежного сложения. Влюблен в одну молодую особу, дальнюю родственницу и жених ея. Та в семейство ходит. Резка и насмешлива. Сестра (М.) сыскала сама себе жениха, дает уроки на фортепиано, что жених сносит. Глупа, жестока и буржуазна. Мать взяла в руки. Жених офицер, дающий под залог деньги... Наконец, отец семейства, бросил его, путешествует за границей, где однакож его притиснули за долги. Возвращается в семейство, сначала форс, потом быстро падает с последними, отчаянными и ужасно глупыми расчетами достать денег. У этих людей, покамест деньги, то если не умны, то по крайней мере они представительны, в числе человеков. Без денег же быстро падают. В семейство ходит двоюродная сестра жениха (героиня) хороша чрезвычайно, высокомерна. (Семейство жениха, — мать в дружбе с матерью другого семейства. 2 старухи, одна тип помещицы, другая петербургской чиновницы). — Старик отец — потаскун... В главном семействе еще приемши — падчерица сестры матери семейства — озлобленная Миньона и Клеопатра. И наконец Идиот. Прослыла Идиотом от матери, ненавидящей его. Кормит семейство, а считается что ничего не делает. У него падучая и нервные припадки. Курса не докончил. Живет в семействе. Влюблен в двоюродную сестру жениха — тайно. Та ненавидит и презирает его хуже чем Идиота и лакея... Он наслулет Миньону. Зажигает дом... Страсти у Идиота сильные, потребность любви жгучая, гордость непомерная, из гордости хочет совладать с собой и победить себя. В унижениях находит наслаждение. Кто не знает его — смеется над ним, кто знает — начинает бояться...

Миньону страшно притесняют, держат хуже служанки — это подлая черта в матери. Миньона влюблена в красавца брата и ненавидит его невесту... Идиоту... жених нашел место в канцелярии; тот походил три дня поругался и вышел (описание как поругался, как долго сидел, переписывал (почерк хорош) соблазнился, что все трепещут директора и вот бы плюнуть-то ему в харю). В семействе говорят: с ним это случается, — то смирен и послушен, то вдруг взбунтуется (В. Все идиотство его есть, в сущности, выдумка мамы (характер мамы)...

История Миньоны все равно, что история Ольги Умечкой... Отец семейства не только все промотал за границей, но еще многие чрезвычайные долги его поданы, наконец, за границей из России ко взысканию... Решаются наконец обратиться к дяде... Дядя — лицо капитальное всего романа. Ипохондрик, самопогребенное тщеславие, гордость. Всех подозревает. Образован. С великодушными даже началами, но все извращено и испорчено. Много наболевших ран. Уединившийся ростовщик, но ростовщик с поэзией. В детстве гадко воспитан и развит. Нелюбимое дитя. Пожертвован брату первенцу. Мать семейства была сначала его невестой; но выдана была за старшего. Очутился на петербургских улицах, наживал поденной работой и по копейке. Милыона 1½ наверно. Никому не дает... Рассеян и невнимателен; чудак; посягал на самоубийство.

Иногда сплин. Некого любить. Боятся быть с людьми, чтобы не переродиться и не привязаться к кому любовью.

Сущность свидания прошла в том, что дядя согласился давать крошечную помесечную помощь (25 р.)... Дядя, собираясь на этот час (ровно час) свидания, был в большом волнении, хотя с виду лед и камень и высокомерно рассеян: он боялся, что увидит прежнюю любовь свою. Но впечатление очутилось комическое и он вышел угрюмый, досадный и свысока презирая себя. Мать семейства разливалась — ораторствовала... Обратил внимание на Миньону: ему рассказали ее биографию при ней, дочь помещика, не кормили, хотела повеситься, с веревки сняли. Пришла красавица (Героиня). Он обратил внимание на Идиота. Впрочем ему и без того об нем рассказать поспешили. Рассеянно слушал. (Почерк. Конторщик говорил.) А вот я его; у меня плетка; почему ж он Идиот? И никто не знает. Невеста Красавица. Все издеваются над Идиотом. Уходит.

— Миньона влюблена в Красавца и ненавидит его невесту. Она ненавидит и Героиню, потому что Героиня льнет к Красавцу, но так как та ужасно хороша, то Миньона, оставшись наедине, цалует ей руки и ноги (и тем сильней ненависть) (она даже нарочно ноги цалует, чтоб за это ненавидеть еще сильнее. „За это я еще сильнее ненавидеть буду“). Завистница и гордячка. Зарежьте ее, а прощения не попросит, а трепещет как трусиха (нервна). Удавится, а есть не попросит коли не дают. Наивна в желаниях своих: всем отомстит, захлебнется в золоте. С Идиотом они сошлись. Дружба страшная до рабства, но наравне. Миньона перед ним благоговейт... Иногда Идиот и она сходятся и говорят, наивные мечты ее, он угрюм и несообщителен; Миньона ему все свои мечты пересказывает. Она беспрерывно мечтает. Она ненавидит семейство. Она ужасно умна и все примечает. Обыкновенно сходятся и об дне говорят. Потом она начинает воображать, как она отомстит. Идиот говорит, смотрит и чувствует как властелин. Он уходит и шатается по Петербургу...

Идиота выгоняют...—на улицах Петербурга день и ночь он и Миньона. Три дня скитания Миньона тоже взбунтовалась и сбежала — я совершеннолетняя. В дождь, в холод, ночью толкуют о золоте, о богатстве—Миньона хочет скорей быть скверной женщиной“ (ор. cit., стр. 11—16).

Сакулин прав, отмечая огромную разницу между „этим эмбрионом романа „Идиот“ и самым романом. „Мышкин и Идиот первого плана—настоящие полярности“. Ближе к персонажам законченного романа женские образы: Миньона и „Героиня“,—отдаленные прообразы Аглаи и Настасьи Филипповны. Поразителен своей сложной формацией прообраз Настасьи Филипповны. Это—гетевская Миньона (из „Вильгельма Мейстера“) отождествлявшаяся с Ольгой Умцкой, героиней злободневного в 1867 г. уголовного процесса, за которым Достоевский внимательно следил тогда по газетам ³¹.

Вслед за приведенным наброском первого замысла, на следующих страницах тетрадей Достоевского дан целый ряд вариантов и поправок к нему. Эти дальнейшие записи двух первых тетрадей Сакулин и подразделяет на восемь (включая основной), последовательно сменявших друг друга „планов“. В каждом из них, начиная со второго, перемешиваются или дополняются в том или ином отношении фабульные и образные очертанья первого; и все время колеблются очертанья главного персонажа—„идиота“ как везде он тут назван, то сближаясь с будущим Рогожиным, то вовсе уклоняясь куда-то в сторону от имеющего возникнуть романа, пока не приобретают наконец в восьмом плане полной четкости знакомые нам по роману признаки „юродивого князя“.

Но при всем внимании к первоначальным формациям романа об „идиоте“ Сакулин совершенно почти упустил из виду ту генетическую преемственность, которая связывает этот „забракованный“ в 1867 г. замысел не с романом „Идиот“, а с позднейшим творчеством Достоевского. Образ „Идиота“ первой формации, так мало похожий на князя Мышкина, напротив похож—иногда разительно—на „великого грешника“, героя другого куда более обширного замысла, проектировавшегося в виде целой серии романов, но дошедшего до нас тоже только в виде конспективных набросков (1869—1870 гг.). Об этом Сакулин почему-то умалчивает, тогда как лишь отсюда понятно было отмечаемое им кое-где сходство „Идиота“ ранней формации со Ставрогиным: Ставрогин, как известно, генетически восходит к „великому грешнику“.

Последняя из трех тетрадей (№ 10) содержит, как уже сказано, наброски ко 2-й и следующим частям романа; заносил их сюда Достоевский начиная с 7 марта 1868 г., т. е. уже после того, как роман начал печататься. И все-таки сплошь и рядом самая фабула, самые очертания главных характеров лишены даже теперь нужной художнику устойчивости. Кто из двух соперников — Мышкин или Рогожин — должен жениться на Настасье Филипповне и каков ее конец, — смерть ли в бордели или смерть под ножом Рогожина, — все это остается Достоевскому неясным до самого конца; неясны и второстепенные персонажи. „Что делать с Ганей?“ — записывает например Достоевский. И тут же намечает несколько таких для него возможностей, которые очень далеки от их восторжествовавшего варианта: „Finis“ тот, что Аглая предается Н. Ф., а Ганя душит Аглаю; или позже: „Аглая со злобы выходит за Ганю — и прогоняет его“³². Кое-что намечается шире, чем удалось осуществить. Таков прообраз мало выразительного в романе Евгения Павловича; в рассматриваемых заметках он носит имя „Вельмончек“ и имеет не только свое лицо, но и свою роль в основной фабуле³³. Иначе, чем в романе, намечается и роль Ипполита; он — „главная ось всего романа“, и именно на нем предстоит „сосредоточить всю интригу“; ему поэтому, а не Рогожину предназначалось сперва самое убийство Настасьи Филипповны; Достоевскому даже мерещилось в нем как будто повторение „прежнего идиота“, того центрального персонажа (будущего „великого грешника“), который, будучи уже раз исключен из романа, настойчиво, видимо, просился опять под перо³⁴.

Пропало наконец кое-что и из намеченного собственно для Мышкина; так пропало например эпизод о „школе у князя“³⁵.

Нельзя в заключение не отметить в этих новых страницах Достоевского отдельных заметок, имеющих характер авторского комментария и к создаваемому тут роману, и к творчеству Достоевского вообще.

Назвав например задуманную им сцену „аксантированной“³⁶, т. е. как бы выделенной среди других особо сильным акцентом, ударением, Достоевский прямо сам подчеркивает один из основных принципов своей поэтики³⁷; или, применив в другом случае сценический термин „coup de théâtre“³⁸, сам обнажает мелодраматическую традицию своего романа о кающейся камелии; не менее любопытно, что отношение Мышкина к Настасье Филипповне часто обозначается тут просто французским словом *réhabilitation*; оно невольно заставляет вспомнить *réhabilitation de la chair* сенсимонистов и связанную с этой доктриной тематику романов Жорж-Занд; есть заметка³⁹, сближающая „вдохновенную речь князя“ (которой в романе соответствует воспоминание о Швейцарии в гл. VII, ч. III) с одним эпизодом в романе Сервантеса, когда Дон-Кихот (в XI гл. I части) произносит перед пастухами вдохновенную речь о золотом веке; но и тут, как в „Преступлении и наказании“, „картина золотого века“ неизменно тревожившая воображение художника, места себе в законченном романе не нашла.

Рукописи к роману „Бесы“ за последние годы в печати не появлялись; не появлялись и рукописи к „Подростку“. Ждут таким образом своей очереди две тетради Центрархива (за №№ 14 и 15 по описи А. Г. Достоевской) с материалами к „Бесам“⁴⁰, три тетради того же собрания с материалами к „Подростку“⁴¹ и рукописные фрагменты к тому же „Подростку“ из собрания б. Пушкинского дома, изданные уже по-немецки автором данного очерка⁴².

Рукописные варианты к „Дневнику писателя“ 1876 г. (январь — март), из тетрадей (№ 7/11) Центрархива, опубликовал Н. Ф. Бельчиков в статье „Тургенев и Достоевский. Критика „Дыма“ („Литература и марксизм“ 1928 г., кн. 1). Поводом для найденных Бельчиковым записей о Тургеневе и его романе „Дым“ послужила Достоевскому газетная статья с упоминанием об „идеях Потугина“; этого было достаточно, чтоб Достоевский снова перечитал ненавистный ему роман, а затем и высказался о нем и его авторе еще раз с предельной злобой и резкостью. Ряд заметок пародирует самого Тургенева — его внешность, его лицо, его привычки, манеры, характер. Упоминается иногда и Потугин. В развертывающейся затем полемике с „потугинскими идеями“ исследователь усматривает „целую систему социологии“, а причину всей вражды в целом (как личной, так и принципиальной) видит в классовой розни: „Колючий плебей —

Достоевский разжигал высокомерие барина — Тургенева, а от высокомерия барина пуше распалялась желчь плебея: *inde ira*“.

Рукописный вариант (из собрания б. Пушкинского дома) к другому выпуску „Дневника писателя“ 1876 г. (май, гл. 2: „Одна несоответственная идея“) опубликовал автор обзора в статье: „Петербургские фельетоны Достоевского“ (см. сборник „Фельетоны сороковых годов“ под ред. Ю. Г. Оксмана. Изд. „Academia“ 1930 г., стр. 118—120).

Автором обзора изданы и рукописи „Братьев Карамазовых“, пока — только в немецком переводе („Die Urgestalt der Brüder Karamasoff. R. Piper Verlag, München, 1928“). Книга делится на две части; текстам Достоевского посвящена вторая ее часть.

Тексты эти (из собрания б. Пушкинского дома и из собрания Московского Исторического музея, перешедшего позже в московскую Ленинскую библиотеку) — сравнительно позднего происхождения; это конспекты отдельных глав романа, непосредственно предшествовавшие их дефинитивному тексту; о каких-нибудь существенных отклонениях первоначального замысла от замысла, воплотившегося в романе, эти рукописные страницы не говорят ничего. Впрочем особого упоминания заслуживают первые пять страниц (из собрания Пушкинского дома). Первая из них, 1876 года, среди черновых набросков к „Дневнику писателя“ содержит несколько случайных и отрывочных фраз, ведущих к будущему роману; так встречаем тут фамилию „Смердяков“, набросок к рассказу о Лизавете Смердящей, несколько характерных выражений, сентенций и т. п., которые перешли потом отсюда на страницы романа, будучи вложены в уста того же Смердякова или Федора Павловича. Страницы 2, 3, 4 и 5 к законченному роману значительно уже ближе; они относятся к сентябрю 1878 г. и являются отрывком составленного тогда (согласно „Воспоминаниям“ А. Г. Достоевской), но к сожалению полностью несохранившегося плана к будущему роману в целом, до начала работы над ним по частям; этот синтетический план, даже в виде сохранившегося отрывка, ценен тем, что с особой наглядностью выделяет основной тематический остов окончательного замысла „Карамазовых“. Что же касается всех остальных рукописных страниц, то ценны они главным образом как авторский комментарий к тому или иному эпизоду, главе или персонажу романа. Так впервые например узнаем отсюда, что действительный прообраз Дмитрия Карамазова — тот самый молодой дворянин, попавший на каторгу по обвинению в отцеубийстве, о котором рассказано на первых страницах „Записок из Мертвого Дома“; его фамилия — Ильинский — нередко прямо заменяет собой в рукописях имя Дмитрия Карамазова. Целый ряд рукописных заметок позволяет восстановить также и прообразы старца Зосимы и Ферапонта. Цитата из романа В. Гюго („Les Misérables“) сближает одного из персонажей этого романа, сыщика Жавера, с образом Смердякова. Особенно ценны наконец все те заметки, которые касаются Катерины Ивановны: ими восстанавливается сложный генезис этого персонажа и связанного с ним в романе сюжета, — заимствованного, как оказывается, у Жорж-Занда.

По внешнему своему виду рукописи к „Карамазовым“ (собрания Пушкинского дома) существенно отличаются от рукописей „Преступления и наказания“ или „Идиота“: вместо переплетенных тетрадей тут перед нами просто пачка со всех сторон исписанных мелким почерком листков почтовой бумаги, без всякой авторской или чьей бы то ни было нумерации; хронологическую последовательность этих листков, их пагинацию, пришлось устанавливать нам, руководясь в каждом отдельном случае либо датами в самом тексте, либо временем работы Достоевского (поскольку оно выясняется из его переписки) над той главой или той книгой романа, которым по своему содержанию данный рукописный листок соответствует; аргументация отнесена в специальный текстологический комментарий. Что же касается приемов воспроизведения самого текста, то в наши задачи входила не только удобочитаемая передача текста, но по возможности также и передача его внешних особенностей; поэтому, с одной стороны, мы широко пользовались редакторским правом восстанавливать (в особых скобках) недописанные Достоевским части слов, а, с другой стороны, чтоб отнюдь не навязывать отрывочным записям Достоевского произвольной синтаксической связи, искажающей их смысл, и без того не всегда достаточно ясный, — воспроизводился нами по возможности и по-

рядок размещения текста по рукописной странице; если же воспроизвести его было нельзя, он по крайней мере оговаривался нами в подстрочных примечаниях.

Рукописным текстам „Карамазовых“ предпослано (в первой части книги) исследование литературной истории романа — тех проблем литературной его истории, которые могли быть освещены текстами; таковы: философская концепция замысла „Карамазовых“ в целом; эволюция завершившегося в „Карамазовых“ более раннего замысла „Житие великого грешника“; сюжетное заимствование в „Карамазовых“ из романа Жорж-Занд „Мопра“ („Mauprat“) на фоне всей истории литературных взаимоотношений Достоевского и Жорж-Занд.

III

За последние пять лет обогатилась новыми публикациями и переписка Достоевского, еще так недавно знакомая нам чуть ли не исключительно по первому тому „Собрания сочинений“ 1883 г. Правда, еще с конца прошлого века это первое собрание писем Достоевского (под редакцией Н. Н. Страхова) начало пополняться. Такие дополнительные сообщения отдельных писем не прекращались в печати и за истекшее пятилетие. Большинство из них однако значение уже утратило после появления (в 1928—1934 гг.) трех первых томов „Писем“ Достоевского (первые два — в издании Госиздата, третий — „Academia“). Значение сохраняют — и то лишь временно, до появления четвертого тома, где должна быть объединена переписка с 1878 г., — те из этих сообщений, которые касаются переписки Достоевского за последний период его жизни (1878—1881). Кроме того особого внимания заслуживают издания таких эпистолярных циклов, как например переписка с Тургеневым. Она издана под редакцией и с примечаниями И. С. Зильберштейна (с вступительной статьей Н. Ф. Бельчикова): „Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев. Переписка. Изд. „Academia“, 1928 г. „Сложные взаимоотношения двух врагов-современников давно уже привлекли к себе внимание исследователей; тем досадней была недоступность или, как полагали, даже отсутствие прочных документальных данных для истории этой вражды: из переписки Тургенева и Достоевского известно было еще недавно всего только 8 писем Тургенева (в „Первом собрании писем И. С. Тургенева“, П., 1884 г.) и ни одного письма Достоевского. Письма Достоевского к Тургеневу впервые извлечены были из Тургеневского архива в Париже (наследников Полины Виардо) и опубликованы в 1921 г. André Mazon'ом в „Revue des Etudes Slaves“ (1921 г., № 1). Через несколько лет их перепечатали в России И. С. Зильберштейн (в сборнике „Достоевский II“ под ред. А. С. Долинина, изд. „Мысль“, Л., 1925 г.). Немного раньше стали известны и те письма Тургенева к Достоевскому, которых недоставало в издании 1884 г.; они опубликованы были Н. К. Пиксановым в сборнике „Из архива Ф. М. Достоевского. Письма русских писателей. Гиз, М., 1923 г.“ Тут же появилось впервые и еще одно письмо Достоевского (с распиской на нем Тургенева), отсутствовавшее в парижском архиве Виардо. Весь этот скопившийся таким образом материал, дополненный еще кроме того распиской Тургенева в получении гонорара за „Призраки“ (по автографу Пушкинского дома), и объединен наконец в названном выше издании Зильберштейна, завершающем, как справедливо указывает редактор, „растянувшееся на сорок с лишним лет обнаруживание сохранявшейся до наших дней переписки Достоевского и Тургенева“. Для историка их „вражды“ ценен будет и тот неизданный дополнительный материал (письма П. В. Анненкова, М. М. Достоевского и др.), который умело собран редактором в отдельных примечаниях к каждому из писем корреспондентов.

Из двух писем Достоевского (1877 и 1880 гг.) к Суворину (см. „Письма русских писателей к А. С. Суворину“. Подготовил к печати проф. Д. И. Абрамович. Изд. Гос. Публ. Библиотеки в Агр-де, 1927) особенно ценно второе: написанное перед самым отъездом из Старой Руссы в Москву на пушкинские торжества, оно освещает один из интереснейших моментов биографии Достоевского; ценно оно кроме того и тем, что сохранило нам прямой ответ самого Достоевского на известную сплетню его литературных врагов о „глупой“, как он тут называет ее, кайме к „Бедным людям“ (в издании 1846 г.).

Ответная записка Достоевского (1850) Т. И. Филиппову по поводу „Карамазовых“ („Звезда“ 1929 г., № 6) ставит на очередь вопрос об отношениях Достоевского в последний период его жизни и творчества с этим его корреспондентом.

IV

Но все это — *membra disjecta* будущего IV тома „Писем“. Первые три объединяют, как уже сказано, переписку до 1877 г. включительно. Это издание („Ф. М. Достоевский. Письма I. 1832—1867. Под редакцией и с примечаниями А. С. Долинина. Государственное издательство. Москва, 1928, Ленинград“; „Ф. М. Достоевский. Письма II. 1867—1871 . . . 1930“; „Ф. М. Достоевский. Письма III. 1872—1877 гг. „Academia“, 1934 г.“) заслуживает самого пристального к себе внимания уже по одному тому, какие заданы предписывает себе в нем редактор: кодифицировать все наличное сейчас эпистолярное наследие Достоевского; для писем, ранее напечатанных, дать более исправный, чем прежде, текст путем сверки его с автографами; дать реальный комментарий к нему и наконец, опираясь на все эти данные, подвергнуть критической проверке биографическую и историко-литературную показательность вообще эпистолярных высказываний Достоевского. С этих четырех точек зрения издание и должно быть рассмотрено.

Кодификация переписки Достоевского, по словам редактора, выразилась, с одной стороны, в собирании воедино писем, опубликованных ранее и „рассеянных по разным газетам, сборникам и журналам“, со страховским собранием в виде первоосновы; и с другой стороны — в „извлечении из архивов как государственных, так и частных писем, до сих пор еще не опубликованных“. В результате того и другого мы и имеем свод из 393 писем (за 1832—1871 гг., в первых двух томах), которому в издании Страхова соответствует, за тот же период, всего только 125 писем. Цифры сами говорят за себя: эпистолярный фонд, которым может теперь располагать биограф Достоевского, утроился по сравнению с тем, который был в распоряжении первых его исследователей. И при всем том было бы напрасным самообольщением считать данную кодификацию исчерпывающей и безупречной. Прежде всего бросающийся в глаза недостаток ее, правда, не зависящий от редактора настоящего издания, — в том, что из общей хронологической последовательности выделено в особое „приложение“ (в конце II тома) 25 новых писем (Центрархива), с особой вступительной статьей (П. Н. Сакулина), с соблюдением особых правил издания и комментирования, с двойной нумерацией, что и усложняет до предела хронологически последовательное ознакомление с перепиской в целом.

Далека от желанного предела и полнота этого нового собрания. Едва успели появиться два его первые тома, как уже появилось и необходимое к ним дополнение — в „Воспоминаниях Андрея Михайловича Достоевского“ (редакция и вступительная статья А. А. Достоевского. Издательство писателей в Ленинграде, 1930). Все значение собранных тут писем Достоевского само собой будет видно при последовательном обзоре тех 268 писем, которыми первые два тома издания Долинина отличаются от страховского.

Первый том „Писем“ открывается шестью детскими письмами (1832—1835) к родителям (к отцу — одно, пять к матери), из которых только 2-е — перепечатка, остальные же появились впервые. Эти 6 писем не исчерпывают однако всю переписку указанного периода и уже сейчас могут и должны быть дополнены еще тремя письмами к матери (за 1834—1835 гг.); их находим в „Приложениях“ к упомянутому „Воспоминаниям Андрея Михайловича Достоевского“ (стр. 358—364).

Первый, петербургский, период переписки Достоевского (1837—1849 гг.) представлен в собрании Госиздата, по сравнению с собранием Страхова, 18 новыми письмами из них 8 являются в печати впервые (№№ 7, 14, 15, 20, 25, 34, 43, 59), а 10 собраны со страниц сборников и журналов (№№ 11, 46, 48, 49—54, 58). Это письма к отцу (№№ 7, 11), к братьям — Михаилу Михайловичу (№№ 14, 25, 34, 58) и Андрею Михайловичу (№ 20), к московским родственникам Куманиным (№ 15), к Е. П. Майковой, матери друзей Достоевского, Валерьяна и Аполлона Майковых (№ 50), наконец к лицам,

с которыми связан был тогда Достоевский собственно литературными интересами, — к Некрасову (№ 46), Порецкому (№ 43), Старчевскому (№№ 48, 49), Краевскому (№№ 51—54), Григоровичу (№ 59). Письма к отцу, так скудно представленные в собрании Страхова, во всей своей совокупности особенно были бы ценны. Но как раз в этом своем отделе собрание Госиздата очень мало прибавило к прежде уже известному: оба новых письма (одно из которых опубликовано к тому же еще в 1924 г.) далеко не заполняют собой всех пробелов этой переписки 1837—1839 гг. Большую и самую содержательную ее часть находим опять только в „Воспоминаниях А. М. Достоевского“: там в „Приложениях“ (стр. 365—379) опубликовано 8 новых писем к отцу; из них 4 написаны совместно с братом Михаилом Михайловичем, а последнее из четырех остальных (5 мая 1839 г.) служит, как выяснилось, началом к письму (10 марта того же года), опубликованному еще у Страхова; и таким образом только теперь, в своей полной редакции, это последнее из писем к отцу, посланное ему накануне трагической его смерти, объясняет нам, почему и когда зародилось у Достоевского то чувство сыновней вины, из которого возникла со временем семейная хроника Карамзовых. Обязаны мы этим однако не собранию Госиздата.

Из четырех новых писем к брату Михаилу Михайловичу (за 1837—1849 гг.) первое (16 августа 1839 г.) опять-таки ценно по своей связи с тем, как пережита была Достоевским смерть отца. Но это — лишь отголосок письма предшествующего, несокращившегося, написанного в конце июня под первым впечатлением только что полученного известия; его содержание отчасти восстанавливается из письма Михаила Михайловича к Куманиным 30 июня 1839 г., опубликованного в примечаниях к „Воспоминаниям А. М. Достоевского“ (стр. 413—414). Из трех остальных писем к Михаилу Михайловичу одно — 1844 г. (№ 25) — разрешает вопрос, что именно переводил Достоевский тогда из Жорж-Занд; оказывается тот самый рассказ („La dernière Albini“), о котором вспомнил и в статье „Дневника писателя“ 1876 г.; другое письмо — 1846 г. (№ 34) — дополняет наши скудные сведения о личных взаимоотношениях Достоевского с Белинским накануне их разрыва; наконец письмо от 22 декабря 1849 г. (№ 58), впервые опубликованное еще в 1922 г., представляет собой документ исключительной ценности: написанное всего несколько часов спустя после отмены смертного приговора, это письмо непосредственно фиксирует тот центральный момент биографии Достоевского, который мы прежде знали лишь в ретроспективно-художественном пересказе (в романе „Идиот“) или по воспоминаниям уже позднейшим (в „Дневнике писателя“ 1873 г.).

Переписка с младшим из братьев, Андреем Михайловичем, за рассматриваемый период (1837—1849 гг.) представлена в собрании Госиздата только одною, тут впервые опубликованною запиской с просьбою о деньгах (1842 г.). К ней следует присоединить еще две таких же записки 1843 г., опубликованные все в тех же „Воспоминаниях“ (стр. 159), и кроме того четыре письма (два — 1846 г., два — 1849 г.), опубликованных там же в „Приложениях“ (стр. 396—398); одно из них (20 июня 1849 г.), посланное из Петропавловской крепости, особенно ценно.

Переписка с московскими родственниками в собрании Госиздата представлена опять-таки только одним, впервые тут опубликованным письмом к А. А. и А. Ф. Куманиным (от 25 декабря 1839 г.), и ценность его осталась бы незамеченной, если бы не те же „Воспоминания“ Андрея Михайловича. Тут находим, во-первых, ближайшее следующее письмо к Куманиным (от 28 января 1840 г.) и связанное с ним письмо к сестре — Варваре Михайловне: затем, во-вторых, 5 писем к П. А. Карепину, мужу Варвары Михайловны, с припиской в первом из них к ней самой (1843—1844 гг.). Восстанавливаемый таким образом новый цикл ранней переписки Достоевского проливает неожиданный свет не только на биографию писателя, но и на самое творчество, обнаруживая в Достоевском такие переживания, которые должны были служить как бы личным апперцепирующим фоном для сентиментального сюжета как раз тогда задуманного романа „Бедные люди“. Свою сестру в письмах к ней Достоевский называет, как и героиню „Бедных людей“, „Варинькой“, а замужество ее, тоже судя по этим письмам, пережил он, едва ли не так же, как переживает герой „Бедных людей“ вынужденное замужество своей „родственницы“. К тому же помещик Быков в романе и П. А. Карепин

в переписке с ним Достоевского кое в чем схожи. В письмах к Карепину интересен социальный момент: в этом споре о деньгах и разделе наследства роли распределены так: спорят и враждуют между собой деклассированный наследник разоренной мелкопоместной вотчины (Достоевский) и „вышедший в люди“ разночинцев „приобретатель“ (Карепин). А попытка Достоевского тут же осмыслить социальный нравственный тип этого своего врага аналогиями из Гоголя — как живое воплощение Чичикова (в письме 19 сентября 1844 г.) — прямо ведет отсюда к пародийным образам самодовольного буржуа в творчестве самого Достоевского: таковы, как известно, Юлиан Мастакович, пятидесятилетний жених семнадцатилетней невесты⁴³ в фельетоне 1847 г. и в рассказе „Елка и свадьба“ (1848); герой комических повестей „Чужая жена“ и „Ревнивый муж“ (1848); тип „сытого толстяка“ в „Маленьком герое“ (1849) и наконец последний и вполне уже заверченный образ „приобретателя“ — Лужин в „Преступлении и наказании“, стилистически восходящий все к тому же Чичикову, а с точки зрения фабулы прямо повторяющий, в плане самосознания Раскольникова, ту самую роль богатого и „солидного“ жениха сестры, которая в 40-х годах в семейных отношениях Достоевского принадлежала Карепину⁴⁴. И такая устойчивость этих семейных воспоминаний в творчестве Достоевского удивлять не должна: прямые и бесспорные их отголоски слышатся не только в повести „Дядюшкин сон“ (где г-же Москалевой приписано комическое негодование Карепина на Шекспира, упоминаемое в письме Достоевского 1844 г.), но и в более поздней повести „Кроткая“ (1876), где герой, вспоминая, как он вышел в отставку, вспоминает тут же еще и о том, что как раз тогда „сестрин муж в Москве промотал наше маленькое состояние и мою в нем часть, крошечную часть, но я осталась без гроша на улице“ (гл. II — „Сон гордости“). Точь в точь при таких же обстоятельствах вышел в отставку в 1844 г. и сам Достоевский, — по крайней мере так рисуются эти обстоятельства в его письмах к Карепину 1843—1844 гг. (см. „Воспоминания А. М. Достоевского“, стр. 384—396). Такова ценность этого нового эпистолярного цикла, отсутствующего однако в собрании Госиздата.

Кодификация ранней переписки Достоевского (до 1849 г.), как видим, оставляет желать многого. Все, что прибавлено здесь к соответствующему отделу собрания Страхова (24 письма), отрывочно и случайно; и лишь при сочетании с тем, что опубликовано позже в „Воспоминаниях“ А. М. Достоевского (счетом всего 22 письма), образуются эпистолярные циклы исключительной историко-литературной ценности.

Лучше обстоит дело с перепиской следующих периодов. Период от 1854 г. до 1867 г. (т. е. от возобновления переписки после каторги до отъезда за границу со второй женой) представлен в собрании Госиздата 205 письмами, которым у Страхова соответствует всего лишь 50 писем (из них 6 в „Приложениях“); из дополнительных 155 писем перечислим лишь те 59, которые в собрании Госиздата появились впервые. Это письма брату М. М. Достоевскому (№№ 73, 74, 77, 84, 87, 93, 102, 105, 111, 114, 115, 118, 120, 121, 127, 131, 191, 201, 202); к брату Н. М. Достоевскому (№№ 172, 206, 239); к сестре В. М. Карепиной (№№ 92, 95, 101); к артистке А. И. Шуберт, которой Достоевский был видимо ненадолго увлечен (№ 147); к начинающей писательнице А. В. Корвин-Круковской, в которую одно время тоже был влюблен Достоевский (№№ 212, 240, 245); официальные письма к кн. В. А. Долгорукому и А. Е. Тимашеву (№№ 138, 143, 139); письма к литераторам или лицам, причастным к литературно-издательским делам Достоевского: Е. И. Якушкину (№№ 97, 103, 106), Б. И. Утину (№№ 162, 163), Н. М. Щепкину (№ 164), И. Н. Березину (№№ 165, 166), А. У. Порецкому (№ 209), А. Н. Островскому (№№ 203, 207, 210, 213), А. А. Чумикову (№№ 217, 218), Я. К. Гроту (№ 242), артисту Ф. А. Бурдину (№ 216), Н. А. Любимову (№ 252), А. И. Глазунову (№ 167), С. Федорову (№ 220); два письма к учителю пасынка М. В. Родевичу, сношения с которыми несомненно отозвались позже в пародиях нигилизма и нигилистов в „Идиоте“ (№№ 214, 215); два письма к висбаденскому священнику И. Л. Янышеву, вырвавшимся Достоевского после проигрыша на рулетке (№№ 237, 243); два случайных письма к неизвестным друзьям Достоевского по Семипалатинску (№№ 89, 90) и наконец любопытное письмо к „неизвестному“ с просьбой истолковать поразивший Достоевского сон (№ 144). Благодаря такому вкладу кодификация некоторых циклов действи-

тельно близка к завершению; такова например переписка с братом Михаилом Михайловичем, нуждающаяся теперь, для полного своего освещения, только в ответных письмах корреспондента; а ее значение для биографа Достоевского таково, что отдельное издание всех доступных писем обоих братьев было бы очень желательно. Зато переписка с В. М. Карепиной представлена и за этот период далеко не полно; письмо к Шуберт, дополняя собой два других ранее известных письма к ней Достоевского, тоже только намечает новый эпистолярный цикл, как и три совершенно уже отрывочных письма к Корвин-Круковской. Впрочем пробелы в этих отделах переписки заполнить пока еще нечем, и самый вопрос о возможности их заполнения остается пока открытым. За весь отмеченный период к собранию Госиздата из „Воспоминаний“ А. М. Достоевского прибавить можно только два письма: к самому Андрею Михайловичу (29 июля 1864 г.) и к его жене Д. И. Достоевской (13 февраля 1866 г.; см. *op. cit.*, стр. 299, 399).

Переписка заграничного периода (1867 — 1871) представлена в собрании Госиздата 129 письмами, из которых 44 находим еще у Страхова, 65 собраны со страниц позднейших изданий и только 16 печатаются впервые. Это — 2 письма к А. Н. Сниткиной, матери А. Г. Достоевской (№№ 278, 290), 2 письма к сестре В. М. Ивановой (№№ 295, 299), 9 писем к племяннице С. А. Ивановой (№№ 305, 310, 339, 359, 364, 376, 379, 388, 389) и 3 письма к литераторам: к Ап. Н. Майкову (№ 338), к В. В. Кашпиреву, издателю журнала „Заря“ (№ 352), и к А. У. Порецкому (№ 366). Ценнее других письма к С. А. Ивановой: вместе с письмами к ней Достоевского, опубликованными ранее, они почти исчерпывают собой весь этот эпистолярный цикл, которому тоже, как и переписке с М. М. Достоевским, недостает теперь только ответных писем корреспондентки. А для биографа Достоевского ответные письма С. А. Ивановой будут конечно ценны; порукой этому — особая задушевность и содержательность всех писем к ней Достоевского, а также причастность ее самое к замыслу „Идиота“: роман этот ей ведь и посвящен. Остальные из 16 вновь опубликованных писем случайны. Их можно теперь дополнить из „Воспоминаний“ А. М. Достоевского (стр. 335 — 351) еще двумя письмами к В. И. Веселовскому (14/26 августа. 1869 г.) и к А. М. Достоевскому (16/28 декабря 1869 г.).

Итак „Письма“ Достоевского в издании Госиздата далеко не представляют собой *édition définitive*: одни из отделов переписки представлены, правда, с исчерпывающей почти полнотой (переписка с братом Михаилом и с С. А. Ивановой); другие, напротив, едва намечены (переписка с отцом); третьи наконец не представлены вовсе (переписка с Карепиным).

Гораздо более окончательный результат дала работа над текстом писем, опубликованных ранее. По словам редактора из писем первого тома (за 1832 — 1867 гг.) сверено с автографами около 90%; из писем второго тома (за 1867 — 1871 гг.) сверены все за исключением только семи (автографы которых не сохранились). В результате этой сложной работы в письмах, казалось, давно всем известных, восстановлены теперь новые строки и даже страницы, пропущенные первыми редакторами или вычеркнутые в самом подлиннике по соображениям семейной цензуры. Так обогатились теперь ценнейшими подробностями давно известные письма к барону А. Е. Врангелю из Семипалатиска (1856 — 1857). Большое внимание уделено датировке писем, — прежде всего писем страховского собрания (не датированных самим Достоевским): даты, расставленные Страховым, проверены в примечаниях и в отдельных случаях доведены до большей точности путем указания на месяц или хотя бы промежуток в несколько месяцев, если Страхов ограничивался только годом.

Из писем, опубликованных впервые (недатированных самим Достоевским), весьма проблематично датировано редактором письмо к Д. В. Григоровичу (№ 59): посланное видимо из Дарового в соседнее с ним Дулебино, именье Григоровича, письмо это может быть точно датировано лишь при выяснении связанного с ним биографического вопроса: когда именно мог Достоевский, одновременно с Григоровичем, навестить родные им обоим места? О такой поездке нет решительно никаких сведений. Понятна отсюда уклончивость соответствующего примечания; опубликовав письмо не по автографу, а лишь по копии с автографа, редактор склонен даже сомневаться в принадле-

ности письма Достоевскому: „если подпись снята правильно и письмо действительно принадлежит Федору Михайловичу (а не Михаилу Михайловичу?)“. Авторство Федора Михайловича сомнительно однако не подлежит; при ознакомлении с автографом (в Нижегородском Краевом музее) подпись и самый почерк в этом убеждают бесспорно. При выборе года редактор останавливается на 40-х годах, но исключает 1843 — 1847 гг., так как в эти годы „Ф. М. лето (когда могла состояться поездка из Петербурга в Даровое) обыкновенно проводил либо в Ревеле, либо возле Петербурга“; редактор предполагает поэтому, что поездка в Даровое состоялась „в одну из зим или летом 1848 г.“ Последнее допущение тоже приходится исключить; в „Воспоминаньях“ А. М. Достоевского под 1848 г. читаем: „Братья Михаил и Федор Михайловичи на все лето наняли дачу в Парголове“ (ор. cit., стр. 178). Вопрос осложняется еще тем, что ведь и Григорович (судя по его „Воспоминаньям“) с поступлением в Инженерное училище до 1846 г. в Дулебино не приезжал. Впрочем в 1842 г., как видно из тех же „Воспоминаний“, он уезжал из Петербурга в Саратовскую губернию и проездом останавливался в Москве, откуда мог заехать также в Дулебино. В биографии Достоевского этот 1842 г. не освещен вовсе: его писем за этот год мы почти не знаем. Официального отпуска в этом году он, правда, не получал, что видно из указа об отставке в 1844 г. Но откуда же видно что 11 августа 1842 г. Достоевский был произведен „по экзамену в подпоручики с переводом в верхний офицерский класс“ и вероятно тогда же имел место некоторый перерыв в занятиях, которым можно было воспользоваться для поездки в Москву и деревню, не испрашивая официального отпуска. 1842-му году вполне соответствовало бы и общее с Григоровичем увлечение Бальзаком, засвидетельствованное рассматриваемым письмом.

Среди других дат, предлагаемых редактором „Писем“, некоторые оставлены почему-то без объяснительных примечаний (ср. №№ 164, 165, 204, 242).

Примечания редактора вообще вызывают немало недоумений. Задачи, которые ставил себе здесь редактор, он сам поясняет так: „Наши т. н. научные издания Писем и Дневников являются классическими по тому обилию сведений, которые даются в примечаньях о каждом упоминаемом лице... Мы же ставим себе задачей: не примечания, а комментарии. Пушкин, Гете, Гюго и т. д. — не сами по себе, а как спутники Достоевского: в его восприятии, в том значении, которое они имели для его жизни и творчества“ („Письма“ I, стр. 36; разрядка Долиннина). Такую ориентацию примечаний — на самого автора писем — надо было бы только приветствовать; беда лишь в том, что вопреки заявлению редактора его собственные примечания вовсе не свободны от тех упреков, которые он делает иным, „классическим“, изданиям писем и дневников. Просит например Достоевский в одном из писем к брату прислать ему в Семипалатинск древних историков, перечисляя тут же их имена (№ 62); и вот на двух страницах убористым мелким шрифтом примечания редактора знакомят нас с Геродотом, Фукидидом, Тацитом, Плинием, Иосифом Флавием, Плутархом и Днидором. И о чем только не узнаем мы тут! И о южных раскопках, производившихся еще в прошлом столетии „в пределах Геродотовой Скифии“, и о том, что у Тацита „потрясенная душа“ и „величественный торжественный стиль“ и т. д. и т. д. („Письма“ I, стр. 513 — 514). Не видно лишь одного, чем бы и следовало однако же ограничиться: какое издание этих историков имел в виду Достоевский: „они все переведены по-французски“, указывает он прямо... При такой щедрости на ненужные подробности тем досаднее явные упущения или неточности. Отзыв Достоевского (№№ 360, 370) о статьях Константинова (в „Заре“ 1870 г.) можно ли было оставить без указания, что Константинов — псевдоним Константина Леонтьева, и следовательно отсюда и берут начало неприязненные с ним отношения у Достоевского. Однако примечания редактора знакомят только со статьями („Письма“ II, стр. 492 — 493, 499), а об авторе их предоставляют читателю догадываться. Статья „Смятенный вид“ (в „Дневнике писателя“ 1873 г. по поводу рассказа Лескова „Запечатленный ангел“) названа (в примечаниях к письму № 343, „Письма“ II, стр. 466) „Смятенный ангел“. Ценны впрочем собранные в примечаниях ответные письма корреспондентов Достоевского (брата М. М. Достоевского, Некрасова, вдовы Белинского, Боборыкина, Лескова, Майкова, Страхова и др. ⁴⁵), а также другие документальные реа-

ли к переписке: указ об отставке Достоевского в 1844 г. (I, 477), проездной билет из Семипалатинска в Тверь (I, 543), прокламация Нечаева и статья Огородникова из журнала „Заря“, использованные в „Бесах“ (II, 484, 491—493), письмо Марии Дмитриевны, первой жены Достоевского, к своей сестре (I, 538) и др. Но эту часть примечаний можно было и следовало бы расширить, сократив многое из остального.

Реалиями примечания не ограничиваются. Они рассчитаны еще и на то, чтобы осветить эволюцию мировоззрения Достоевского.

Схема, в которую стремится втиснуть Достоевского редактор его писем, весьма несложна. Достоевский до каторги — целиком в русле атеистических (или „социалистически-атеистических“) идей Белинского (I, 492; II, 425 и др.); десятилетний сибирский период тоже по существу мировоззрения не изменяет, лишь выдвигается Герцен в дополнение к Белинскому (I, 490); временный кризис сконструированного так мировоззрения приурочен только к заграничному периоду 1867—1871 гг. и приписан тоже воздействиям внешним — лиц или обстоятельств: Майкова, с которым однако Достоевский почему-то „люди разных культур“ (II, 448), Страхова, который тоже, несмотря на влияние, „органически чужд“ Достоевскому (I, 556), женевской эмиграции, „причина расхождения“ с которой Достоевского „не столько в нем, сколько в ней“, в ее недоверии к редактору „Эпохи“ и автору „Преступления и наказания“ (II, 402); наконец третий период, названный тут „синтетическим“ и начинающийся не то с 1876 г. (I, 483), не то с 1874 г. (II, 514), характеризуется опять всего только тем, что „ослабевает ненависть к Белинскому“ (II, 514), „тень которого снова с любовью начинает приближать к себе“ Достоевский (I, 483). Такова схема Долинина. Но если бы она соответствовала действительности, мы стояли бы перед неразрешимой загадкой: кто же написал „Бедных людей“, „Преступление и наказание“ и „Карамазовых“? Их автор и носитель сконструированного Долининым мировоззрения отождествлены быть не могут: слишком оригинален первый, слишком банален второй. И чтоб уже вполне убедиться в несостоятельности этой странной теории о Белинском-„двойнике“ Достоевского, достаточно одного примера тому, как поступает Долинин с фактами, если они не укладываются в его схему. Пишет например Достоевский брату 26 ноября 1846 г., т. е. как раз в тот момент, когда называет разрыв с Белинским не только у него самого, но и у всей группы его друзей и единомышленников по „Отечественным Запискам“ и кружку Бекетовых с Валерьяном Майковым во главе: „Что же касается до Белинского, то это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе“ (№ 41). Для всякого непредубежденного читателя самоочевидно, что упрек этот „литературными мнениями“ Белинского не ограничивается; явно подразумеваются тут (в слове „даже“) еще какие-то другие „мнения“ Белинского столь же шаткие, как и те. Если при этом принять во внимание, что как раз осенью 1846 г. Белинский с обычной для него решительностью отрывается от недавнего своего увлечения социальными утопистами (что и сказывается тотчас же в его полемике с В. Майковым), а Достоевский, напротив, в том же письме 26 ноября 1846 г. тотчас после упреков Белинскому восторженно восклицает о „благоденствиях ассоциации“, т. е. заявляет себя фурьеристом, тут же упоминая о своих „добрых друзьях“ Бекетовых, — если принять все это во внимание, можно ли будет сомневаться, что упрек Белинскому со стороны Достоевского вызван между прочим принципиальными их разногласиями накануне окончательного разрыва? Но Долинину необходимо устранить даже самый вопрос о разногласиях принципиальных. Комментарий повтому дан в искусственно усеченной фразе, с пропуском слова „даже“ (у Белинского „в литературных мнениях пять пятниц на неделе“ — см. „Письма“ I, стр. 494). Благодаря такому приспособлению текста к собственным заданиям комментатора и оказывается в самом деле возможным весь вопрос свести только к авторскому самолюбию Достоевского: упрек Белинскому вызван будто бы его отрицательным отзывом о „Прохарчине“ или о „Романе в 9 письмах“, и ничем больше. Укрепленная такого рода „аргументацией“ (в примечаниях) теория о Белинском-„двойнике“ Достоевского изложена еще раз, без всяких уже аргументов, в редакторском предисловии ко II тому, на котором можно повтому не останавливаться. Но на предисловии редактора к I тому не остановиться нельзя.

Оно посвящено в основной своей части обзору переписки за 1867.—1871 гг., несмотря на то, что самая переписка за эти годы отнесена во II том. Чем обусловлен этот несколько неожиданный выбор темы для редакторского вступления к первому тому, поясняет нам сам редактор; его, как оказывается, интересует „вопрос о взаимоотношении между „Бесами“ и неисполненным замыслом „Житие великого грешника“ (I, 15) или, верней, „произвольные, фантастические“, как он их называет, гипотезы писавших до него об этом взаимоотношении. Указана при этом статья автора настоящего обзора („Ненаписанная поэма Достоевского“ в сб-ке „Достоевский“ I. Изд. „Мысль“, 1922 г.). На выделенном так вопросе редактор „Писем“ и решает остановиться „особенно подробно“. „Покажем на решении его, — говорит он, — насколько вообще ценен этот эпистолярный материал для изучения творчества Достоевского, и в то же время пусть попутно выдвинется несколько основных положений и методологического характера: как именно следует пользоваться подобным материалом, с какой осторожностью следует к нему подходить и как далеко, до каких пределов, должна простирается эта наша осторожность, наш законный скепсис по отношению к показаниям, имеющимся в письмах, в которых автор является лицом всегда более или менее заинтересованным“ (I, 16, разрядка цитируемого автора). Стремясь затем по-новому осветить взаимоотношение двух замыслов 1868—1870 гг., один из которых „Атеизм“ (несколько позже — „Житие великого грешника“), а другой „Бесы“, Долинин исходит из предположения о заведомой неточности некоторых признаний Достоевского в письмах к друзьям, в особенности к Страхову. В этом и состоит „основное методологическое положение“ Долинина. Достоевский уличается Долининым в заведомом укрывательстве от этих своих корреспондентов „действительной правды о ходе работы над „Бесами“ (I, 26); в письмах к ним Достоевский систематически преуменьшал будто бы действительные размеры и художественную значительность своего труда над этим романом (для „Русского Вестника“) в пользу своего замысла („Жития“), значительность которого, напротив, столь же умышленно, на взгляд Долинина, преувеличивалась Достоевским для того, чтобы набить ему цену в редакции журнала „Заря“, к которой близко стояли и Страхов, и Майков. Но этот кропотливый подбор улики едва ли кого-нибудь убедит. Первенствующее, по сравнению с „Бесами“, значение для Достоевского в тот период его неосуществившегося замысла („Атеизма“ — „Жития“) подчеркнуто, с особенной даже резкостью, в письмах к племяннице С. А. Ивановой-Хмыровой, правдивость которых не заподозривает и Долинин; а подчиненность замысла „Бесов“ в последней его формации (1870) замыслу неосуществленному („Жития“) обнаруживается из столь же бесспорных признаний письме к Каткову (8/X 1870 г.), с чем тоже вынужден в конце концов согласиться Долинин (I, 25). И таким образом подобранные им улики теряют всякую убедительность. В своем „скепсисе“ (о „законности“ которого пусть судит читатель) Долинин переступает последние пределы правдоподобия, а в виде вывода и утверждает незаконную „несостоятельность гипотезы о влиянии „Жития“ на „Бесов“ и на следующие романы Достоевского“ (I, 27). Но как объяснить тогда тематическое сходство, а подчас и тождество конспективных записей к „Житию великого грешника“ (1869—1870) и хронологически совпадающих с ними „Бесов“, затем „Подростка“ и наконец „Братьев Карамазовых“? Из „единой системы символов, которая объединяет все творчество Достоевского второго периода“, отвечает Долинин (I, 27—28). Так; но ведь эта-то самая „система“ — если не отвлекать ее от законченных романов, а отыскивать именно как генетическую их первооснову, как синтетический замысел — только и известна нам по конспективным записям „Жития“, синтезирующую роль которого в истории своего творчества настойчиво подчеркивал сам Достоевский ⁴⁶. Но Долинину нужна „система“ более емкая, охватывающая собой не только последние три романа, а и предшествующий им — „Идиот“. Это — „группа символов пра-„Атеизма“ (II, 437), синтетический замысел, предшествующий и „Атеизму“, и „Идиоту“ и якобы охватывающий собой все романы Достоевского от „Идиота“ до „Карамазовых“ включительно. Но что говорит о существовании такого замысла? Отвлечь от отдельных романов (с учетом хотя бы и рукописных версий) и обобщить родственные им всем черты в „систему“ не значит еще указать генетическую их первооснову. „Пра-„Атеизм“ Долинина — именно такая

абстракция; напротив, конспекты „Жития“ — документальное свидетельство о синтетическом замысле, подлинно существовавшем. „Скепсис“ исследователя опять приводит его от напрасно заподозренных документальных данных к произвольно измышленным фикциям. Словом, если уж говорить о системе задуманных художником символов, т. е. об их организованном и сколько-нибудь устойчивом единстве не *post factum*, не в „собрании сочинений“, а в процессе становления, генезиса, — конспекты к „Житию“ (1869 — 1870) своего значения для литературной истории „Бесов“ и последующих романов Достоевского не потеряют никак, сколько бы ни стремился лишить их его чересчур пристрастный к высказываниям своих предшественников исследователь. И недаром, заговорив сперва о „единой системе символов“, Долинин вынужден далее ссылаться на нечто совершенно противоположное ей — на образы-символы, всего только „странствующие“ в творчестве Достоевского: отыскивая среди сменявших друг друга замыслов 1868—1870 гг. синтезирующую их систему, нельзя не притти к „Житию великого грешника“, а для того чтобы говорить о „странствующих“ образах, можно обойтись и без документальных данных. Отсюда неизбежное противоречие Долинина с самим собой. Так например, в примечании к словам из письма (А. Н. Майкову) от 11/23 декабря 1868 г.: „огромный роман „Атеизм“ — читаем следующее: „Замысел „Атеизм“ претерпевает целый ряд изменений, переходя в замысел „Житие великого грешника“, тоже неосуществленный, и реализуясь разными элементами своими во всех больших романах 70-х годов вплоть до „Братьев Карамазовых“ (II, 437). Эта-то мысль и составляет основной тезис той самой статьи („Ненаписанная поэма Достоевского“), с которой так некстати полемизирует Долинин в своем введении, противореча затем самому себе в указанном примечании.

Переписка, собранная в III томе, — за 1872—1877 гг. — представлена 219 письмами; из них только восемь имеются у Страхова; около 180 собрано со страниц позднейших изданий; и тридцать писем печатается впервые; это — письма: сестре В. М. Ивановой (№ 401), племяннице С. А. Ивановой (№№ 397, 422), брату Н. М. Достоевскому (№№ 449, 459, 463, 472, 502, 534, 573, 576, 602), сыну (№ 469) и дочери (№ 471), Полонскому (№ 399), Страхову (№№ 413, 423), Тургеневу (№ 473), Всеволоду Соловьеву (№ 536), Оресту Миллеру (№ 461), Победоносцеву (№ 453), кн. Мещерскому, (№ 452, 454, 465); сотрудникам „Гражданина“ Пуциковичу (№ 421) и Поречкому (№№ 432, 578); книгоиздателям Надеину (№ 574) и Кехрибаржи (№ 534); неизвестному драматургу Кишенскому (№ 448) и начинающему литератору Федорову (№ 425, 451). Из них только письма к брату Николаю Михайловичу, при всей их бесцветности составляют, тем не менее, что-то вроде эпистолярного цикла; остальные же более или менее отрывочны, хоть некоторые из них и имеют большую документальную ценность. Таково например письмо к С. А. Ивановой (№ 397), помогающее уяснить все еще до конца невыясненную историю пропуска в „Бесах“ так называемой исповеди Ставрогина.

Остальное — не новое — содержание книги распадается приблизительно на пять эпистолярных циклов; это — письма: к Павлу Исаеву, к метранпажу Александрову, к Всеволоду Соловьеву, к жене и к случайным корреспондентам из числа читателей „Дневника писателя“. В письмах последнего цикла немало можно найти пояснений к отдельным философско-публицистическим темам не только „Дневника“ (письмо к Ковнеру), но даже „Братьев Карамазовых“ (письмо к Алексею). И тем не менее основной слой в переписке Достоевского за этот, так странно выделенный Долининым период составляли письма к жене, достаточно хорошо всем известные по изданию Центрархива (1926 г.) Их тут числом всего 92, то-есть без малого половина всех писем в книге, а с другой стороны — больше половины всех вообще писем Достоевского к Анне Григорьевне (всего их 162). Стоило ли, спрашивается, ограничивать третий том 1877-м годом, напополам превращая его тем самым в простую перепечатку сравнительно новой книги...

Есть в III томе досадные пропуски. Они касаются цикла писем к метранпажу М. А. Александрову. Из восемнадцати писем к этому адресату, помещенных в томе, шестнадцать, как сообщается в „примечаниях“ Долинина, имели первичную публика-

цию в кн. IV „Русской Старины“ за 1892 г., а два письма (№№ 575 и 608) „печатаются впервые“. Последнее указание неверно. Оба письма были уже опубликованы в сообщении Г. Прохорова „Ф. М. Достоевский. Письма к метранпажу М. А. Александрову“, напечатанном в „Звезде“ 1930 г., кн. VI, стр., 260—262. В этой публикации, оставшейся неучтенной Долининым, помещено кроме того, еще пять писем Александрова, из которых два нашли себе место в III-ем томе (№№ 539 и 548) однако без указания на источники публикации (первое письмо повидимому напечатано по факсимиле из издания А. Е. Бурцева „Мой журнал. Для любителей искусства и старины“, выпуск VII и XIV, СПб. 1913 г.), три же письма (1873, 1876 и 1877 гг.) оказались пропущенными и не вошли в III том.

Недостаточно точен III том и в текстологическом отношении. Например письмо к А. Ф. Кони (№ 464) печатается, как гласит примечание, „по подлиннику, хранящемуся в Центрархиве“ (III, 319); почему же этот подлинный (?) текст отличается от факсимильного издания письма, о котором Долинин даже не упоминает.

Редакторские „Примечания“ Долинина нуждаются местами в фактических поправках. Письмо А. П. Filosoфовой (№ 590) впервые опубликовано не в сб-ке „Памяти А. П. Filosoфовой“, как указано в „Примечаньях“ (ор. cit., 385), а в „Русской Старине“ 1883 г., кн. X, стр. 231. — Письмо к неизвестному (№ 596), впервые опубликованное в „Русской Старине“ 1884 г., оставлено без указания на инициал фамилии адресата, который в „Русской Старине“ имеется (Н.). А письмо стоит того, чтоб заинтересоваться адресатом: в нем есть любопытные припоминанья Достоевского о своей юности.

Особое место в литературном наследии Достоевского занимают его показания следственной комиссии 1849 г. по делу Буташевича-Петрашевского. Документ этот, характеризующий Достоевского-революционера, издан был уже не раз; и тем не менее некоторые его отделы, как оказывается, продолжали оставаться до самого последнего времени неизвестными вовсе. Их впервые издал недавно Н. Ф. Бельчиков („Показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев“, „Красный архив“ 1931 г., тт. 45 и 46). Это — более или менее краткие ответы Достоевского на поставленные ему во время следствия вопросы, — ответы, по большей части хронологически предшествовавшие тому обширному „объяснению“, которое только и было до сих пор известно в печати. Из содержания последнего впрочем видно, что какие-то показания Достоевский давал и до него, уже раньше: „Соображаясь с первым допросом моим“, пишет тут Достоевский. Это-то „Первый допрос Ф. М. Достоевского“ прежде всего и находим в публикации Бельчикова. Достоевский здесь назван „Достоевским 1-м“, и следовательно документ относится к первым шести неделям после ареста (22—23 апреля 1849 г.), пока не был освобожден тоже арестованный тогда Достоевский Михаил Михайлович⁴⁷. Далее, вслед за ответами на „первый допрос“, идут ответы на „отдельные вопросы“, каждый ответ на особом листе, не датированные, но тоже относящиеся по большей части к первым месяцам после ареста, потому что в одном из них Достоевский пишет: „Я и другие в эти два месяца за заключения вытерпели“ и т. д. (разрядка моя.—В. К.). Впрочем в одном из ответов — о либерализме — есть уже ссылка на „объяснение“.

Что же нового узнаем мы отсюда о Достоевском-петрашевце?

Узнаем прежде всего, кто из петрашевцев был Достоевскому близок. „Ближе всех, — пишет он, отвечая на вопрос о знакомых, — с Дуровым, с Пальмом, с Плещеевым, с Головинским и с Филипповым“. Первые трое в качестве друзей Достоевского известны были и прежде; но к ним присоединяются теперь Головинский и Филиппов — оба среди петрашевцев из числа наиболее радикальных. Головинский, больше других занятый вопросом об освобождении крестьян, не останавливавшийся, в случае необходимости, перед мыслью о революционной „диктатуре“, как выясняется теперь, и введен-то был в кружок Петрашевского ни кем другим, как Достоевским (см. т. 45, стр. 138). Не менее показательна близость Достоевского с Филипповым. Филиппову вместе со Спешневым принадлежала, как известно, главная роль в деле организации тайной типографии⁴⁸, но, как удостоверяет, с другой стороны, известное письмо Ап. Майкова к проф. Висковатову⁴⁹, мысль об организации типографии увлекала и Достоевского. Личная близость с Филипповым лишний раз подтверждает теперь причастность Достоевского к одному

из самых смелых начинаний революционных кружков 1849 г. Причастен, как выясняется, Филиппов и к другому связанному с именем Достоевского эпизоду следственного дознания: письмо Белинского к Гоголю, прочитанное перед петрашевцами Достоевским, переписано было (видимо в целях распространения) Филипповым „с рукописи Достоевского“ (т. 45, стр. 134). Понятно отсюда, почему один из „ответов“ Достоевского целиком посвящен Филиппову, с которым, как оказывается, Достоевский познакомился „прошлого лета (1848) на даче в Парголове“ и который им потом и „был введен“ в кружок Дурова (т. 46, стр. 166—167). Другой „ответ“ знакомит нас с кружком Дурова и с самим Дуровым. „Знакомство мое с Дуровым и Пальмом началось с прошедшей зимы,— пишет Достоевский.— Нас сблизило сходство мыслей и вкусов... Скоро мы, т. е. я, брат мой, Дуров, Пальм и Плещеев, согласились издать в свет литературный сборник и поэтому стали видаться чаще. Брат написал проект издания“ (т. 46, стр. 165). Это совместное литературное выступление петрашевцев осуществиться к сожалению не успело. Из отдельных характеристик, которых в показанных Достоевского вообще немало, кроме характеристики Дурова интересна характеристика Тимковского, как бы предваряющая собой образы мноманов вроде Кириллова в позднейшем творчестве Достоевского. „Тимковский — один из тех исключительных умов, которые, если принимают какую-нибудь идею, то принимают ее так, что она первенствует над всеми другими, в ущерб другим. Его поразила... изящная сторона системы Фурье“ (т. 46, стр. 163).

Словом, Достоевский в опубликованных теперь документах рисуется куда более тесно связанным с революционными кружками 1849 г., чем это можно было предполагать до сих пор. Это делает понятным тут же в следственном „деле“ встретившийся отзыв о Достоевском видимо кого-то из членов комиссии: „Один из важнейших“ (т. 45, 132). Таковым признавал сам себя и Достоевский, если верить позднейшим его признаниям (в „Дневнике писателя“). И недаром бунтарь Раскольников вынашивает свою „мечтательную“ идею как раз там, где событиями 1849 г. захвачен был бунтарь Достоевский, — художественный штрих никем пока кажется не отмеченный: ведь Раскольников ютится где-то в переулке между Садовой и Вознесенским: „Я Родион Романыч Раскольников, бывший студент, а живу в доме Шила, здесь в переулке...“ (гл. 6, ч. II). — „Дом Шила — Раскольников“, отмечено и в изданных Центрархивом рукописях (ор. cit., стр. 35). Но вот где арестован был в 1849 г. Достоевский, согласно опубликованной теперь Бельчиковым жандармской справке („О лицах, посещавших собрания Петрашевского“): „Достоевский 1-й Федор Михайлович, отставной инженер-поручик, литератор. Жительство: 1-й части 2 кварт. на углу Малой Матросской и Вознесенского проспекта в д. Шила“ (т. 45, стр. 132), „Дом Шила“ двадцать лет спустя перешел в „Преступление и наказание“.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ После М. Лемке в защиту авторства Достоевского по отношению к этой статье высказался — с существенными, правда, оговорками — Б. Козьмин („Братья Достоевские и прокламация „Молодая Россия“, в журнале „Печать и революция“ 1929 г., кн. 2—3). Однако возражения Томашевского и Халабаева бесспорно решают вопрос в отрицательном смысле (т. XIII, стр. 613). Открытым пока остается вопрос об авторстве Достоевского по отношению к другой статье, тоже запрещенной цензурой в 1862 г., отрывок из которой приводит Б. Козьмин в своей названной выше работе. Документ, освещающий цензурную историю журналов „Время“ и „Эпоха“, опубликованы А. Долинным („К цензурной истории журналов Достоевского“ в сб-ке „Достоевский“, II, 1925 г.).

² Отрывки отсюда изданы были тем же И. И. Гливленко в „Красном архиве“ (т. VII) и в „Печати и революции“ (1926 г., кн. 4).

³ См. „Достоевский. Письма, I“. Гиз. 1928, стр. 581.

⁴ Ор. cit., стр. 88.

⁵ „Достоевский. Письма, I“, стр. 423—424.

⁶ В отрывке; ор. cit., стр. 111.

⁷ Ср. в отрывке: „Это Сонечка хозяйюшка твоя“; „Сонечкой зовет. Ах ты рожа повадливая, — сказала Настасья...“; „Нехудо, Настасьюшка, чтоб Софья Тимофеевна бутылочки две пивца скомандовала“. — Ор. cit., стр. 140, 148, 139. — В конспектах: „М. Мамаша прислала 40 руб. с купцом и письмом., а Разумихин сказал что Сонечка подождет“.

⁸ „Соня, дочь чиновника“ — Ор. cit., стр. 84. — Напротив, в конспектах конца тетради имя „Соня“ вполне уже закреплено за главной героиней, чем и доказывается сравнительно поздний характер этих записей. — Ср. ор. cit., стр. 165.

- 9 Ор. cit., стр. 143.
- 10 Ор. cit., стр. 81.
- 11 Ор. cit., стр. 83.
- 12 Ор. cit., стр. 86.
- 13 Ор. cit., стр. 87.
- 14 Ор. cit., стр. 80, 90.—В законченном романе на Петровском острове (вм. Крестовского) Раскольников видит свой жуткий сон об истязании лошади.
- 15 Ор. cit., стр. 86.
- 16 Ор. cit., стр. 90—91.
- 17 Ор. cit., стр. 86.
- 18 Ор. cit., стр. 87, 91.
- 19 Ор. cit., стр. 163.
- 20 Ор. cit., стр. 84, 86.
- 21 Ор. cit., стр. 89.
- 22 Ор. cit., стр. 90.
- 23 „Достоевский. Письма, I“, стр. 425.
- 24 „Достоевский. Письма, I“, стр. 430.
- 25 Последняя из встречающихся тут дат—„13 ноября“ (ор. cit., стр. 212) — относится конечно, подобно всем предыдущим, к 1866 г., а не к 1865 г., как полагал И. И. Гливенко.
- 26 Ор. cit., стр. 177, 178.
- 27 Ср. сходные заметки в тетради № 1, ор. cit., стр. 60, 73 и др.
- 28 Ор. cit., стр. 204.
- 29 „Достоевский. Письма, II“, стр. 71.
- 30 Ibid., стр. 60.
- 31 См. об этом в статье В. С. Дороватовской-Любимовой: „Идиот“ Достоевского и уголовная хроника“ („Печать и революция“ 1928 г., кн. 3).
- 32 Ор. cit., стр. 150, 152.
- 33 Ор. cit., стр. 149, 150, 151 и др.
- 34 Ор. cit., стр. 158, 160.
- 35 Ор. cit., стр. 148.
- 36 Ор. cit., стр. 84.
- 37 См. о нем в нашей статье „Роман „Подросток“ как художественное единство“ в сб-ке „Достоевский“, II. Изд. „Мысль“, 1925 г.
- 38 Ор. cit., стр. 100.
- 39 См. ор. cit., стр. 158.
- 40 См. „Документы по истории литературы и общественности. Ф. М. Достоевский“. Изд. Центрархива. М., 1922 г., стр. IV.
- 41 Ibid., стр. III, VI.
- 42 В книге „Der unbekannte Dostojewski“, München, R. Piper Verlag, 1926.
- 43 Варвара Михайловна Достоевская вышла замуж (в 1840 г.) 17 лет; о сватовстве к ней Карепина рассказывает в своих „Воспоминаниях“ Андрей Михайлович: „жених был... лет 40 с хвостиком“ (ор. cit., стр. 113).
- 44 В „Воспоминаниях“ племянницы Достоевского М. А. Ивановой („Новый мир“, 1926, кн. 3) сохранилось указание самого Достоевского, будто в лице Лужина он изобразил своего племянника А. П. Карепина, сына П. А. и В. М. Карепиных. Но все, что попутно рассказывает мемуаристка об издевательствах Достоевского над этим Карепиным-младшим, не объяснимо иначе, как только при допущении, что будущую свою вражду к Карепину-зятю Достоевский перенес с годами на Карепина племянника. И если М. А. Иванова верно запомнила, что Лужин—Карепин, то не ошиблась ли она в выборе между отцом и сыном или не ввел ли ее умышленно в заблуждение сам Достоевский: когда писалось „Преступление и наказание“ П. А. Карепина в живых уже не было и Достоевскому едва ли было удобно разоблачать перед племянницей свою неизжитую вражду к умершему уже родственнику.
- 45 Письма корреспондентов Достоевского (Майкова, С. Д. Яновского, П. Исаева, редакции журнала „Русский Вестник“) опубликованы также Е. Покровской и Г. Прохоровым в сб-ке „Достоевский“, II, изд. „Мысль“, Лгр., 1925 г.
- 46 „Этот роман — все упование мое и вся надежда моей жизни — не в денежном одном отношении. Это главная идея моя, которая только теперь в последние два года во мне высказалась... Эта идея — все, для чего я жил“. Так характеризует Достоевский (в письме к С. А. Ивановой 26/14 декабря 1869 г.) задуманное им „Житие великого грешника“ шесть дней спустя после того, как приступил к составлению его конспекта: первая в нем запись датирована, как известно, 20/8 декабря 1869 г. Подобных же отрывков немало и в других письмах.
- 47 О шестимесячном пребывании под арестом Михаила Михайловича см. „Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского“. Лгр., 1930 г., стр. 209.
- 48 См. сб-к „Петрашевцы“, т. III под ред. П. Е. Щеголева, 1928 г., стр. 194.
- 49 См. „Петрашевцы в воспоминаниях современников“. Сб-к под ред. П. Е. Щеголева, 1926 г., стр. 20—26.